

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

ГОРЬКАЯ ЖИЗНЬ



СИБИРСКИЙ
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ
РОМАН



Сибирский приключенческий роман

Валерий Поволяев

Горькая жизнь

«ВЕЧЕ»

2018

Поволяев В. Д.

Горькая жизнь / В. Д. Поволяев — «ВЕЧЕ», 2018 — (Сибирский приключенческий роман)

ISBN 978-5-4484-7623-5

События, описанные в романе «Горькая жизнь», действительно произошли после войны в одном из сибирских лагерей. Несправедливо осужденные бывшие фронтовые разведчики подняли восстание. Но кто они и скольким удалось спастись от преследования? Об этом, опираясь на немногие сохранившиеся документы и свидетельства очевидцев, и постарался рассказать известный мастер отечественной прозы и знаток сибирского края Валерий Поволяев.

ISBN 978-5-4484-7623-5

© Поволяев В. Д., 2018

© ВЕЧЕ, 2018

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.	40
-----------------------------------	----

Валерий Поволяев

Горькая жизнь

Знак информационной продукции 12+

© Поволяев В. Д., 2018

© ООО «Издательство «Вече», 2018

* * *

Китаеву часто снился голодный, холодный, насквозь, до костей, промерзший, изуродованный чужими снарядами Ленинград. В Ленинграде Китаев пережил то, чего, наверное, мало кому доводится пережить – блокаду.

Даже во сне, когда он видит двух или трех исхудалых, похожих на тени женщин, волокущих за собою санки с трупом, чтобы оставить тело дорогого человека на площадке, откуда его солдатский грузовик – старенькая, с надрывным голосом полуторка – увезет на кладбище, в братскую могилу, Китаеву делается плохо – начинает замирать, тормозить свой бег сердце и становится трудно дышать. По коже ползут колючие мурашки, он их ощущает даже во сне, ворочается на жесткой вытертой подстилке.

Просыпаться нельзя, нужно еще чуть поспать, поднакопить силенок, иначе на тяжелой работе не выжить, поскольку в шесть часов утра у входа в барак загромыхает железный лемех, по которому, целя в самый низ звонкого бока, ударят обломком старого коленчатого вала, изъятых из раскуроченного мотора «Уралзиса», возившего охранников, и тогда о сне можно будет только мечтать.

Сон переместится в разряд воспоминаний.

Поэтому приходилось досматривать жуткие блокадные видения, видеть серый, шевелящийся под напором мороза снег, серое небо, серые разбитые улицы, которые были завалены сугробами, а расчистить их у людей не хватало сил, так что судьба у улиц была одна – быть грязными, забитыми мусором, льдом, снегом до весны, а там солнце пригреет, приборет, помоем улицы, приведет в порядок и весь мусор с талой водой сбросит в каналы.

Выжить в Ленинграде многим помогали бытотряды, – их создавали при райкомах комсомола, – в первую, самую лютую блокадную зиму они хоронили мертвых, во вторую подсобляли ослабшим – носили воду, хлеб, топили железные печушки-временки, затыкали пробойины, оставленные снарядами. В третью зиму блокада уже была прорвана.

Китаев сам был бойцом бытотряда, каждый вечер отчитывался за свою работу, писал секретарю райкома донесение – спас столько-то человек... И преувеличения в этом не было – на счету бойцов бытотрядов ежедневно оказывались десятки, а то и сотни спасенных людей, в основном, старых.

Дом, где жили Китаевы, постепенно вымирал – от голода, от холода, от ран. По опустевшим квартирам гулял ветер, углы стен промерзали насквозь. Когда допекали морозы и обогреться было нечем, из пустых квартир этих волокли все, что могло гореть – книги, мебель, тряпки, портьеры; выколупывали паркет, срубали двери... Страшно было. Даже на фронте не было так страшно, как в городе.

Семья Китаевых дружила с другой семьей – Голубевых, живших через стенку, хотя и в соседнем подъезде – несмотря на разные подъезды, стенка у них была общей. Голубевых было трое – мать Екатерина Сергеевна, ученый человек, известный в городе исследователь морских течений, в том числе и балтийских, сын Трофим, пошедший по стопам покойного отца и ставший железнодорожником, и жена Трофима Вера, работавшая в обувной промышленности, в

управлении и, видать, бывшая там приметным лицом – всегда щеголяла в новых модных туфлях, сшитых по заказу в экспериментальном цехе обувной фабрики «Скороход». И ей было, чем щеголять, – на достойных ножках «скороходовские» туфли смотрелись не хуже итальянских. Была Вера Голубева броской блондинкой с искристыми глазами и чувственным ртом. Многие считали, что Трофиму она не пара, хотя сам Трофим так не считал.

В конце января сорок второго года, в самую мучительную пору, когда от голода, кажется, уже вымер весь Ленинград, в дверь квартиры Китаевых раздался стук. Сам Володя Китаев, согнувшись в три погибели над хлипкой жактовской печушкой, жарил блинчики из горчичного порошка. Никаких других продуктов в доме не было, только горчичный порошок, да и тот Володина мама достала случайно. Блинчики из него получались, естественно, никакие, но если пару дней порошок повымачивать, постоянно меняя воду, то часть горечи из него уйдет и тогда можно будет лепить блинчики. Чтобы блинчики не подгорали, опытные блокадники жарили их на воде, либо машинном масле.

У Китаевых было немного масла – перед войной купили целую поллитровку, чтобы смазывать ножную швейную машинку, – у Голубевых был знатный «Зингер» – теперь это масло пригодилось для других целей. Сегодня Володя жарил на нем горчичные блинчики. Сизый чад хлопьями плавал по кухне. Мать, конечно, пожарила бы лучше, но она, ослабшая окончательно, лежала на постели и не поднималась.

Поначалу Китаев стука не услышал – сам слаб был и почти оглох на оба уха, а потом услышал и, поморщившись недовольно – слишком уж от важного дела его отрывали, – пошел открывать дверь.

На пороге стояла Вера Голубева, опухшая, с серым лицом и тусклыми, словно бы погасшими глазами.

Китаев поклонился ей:

– Здравствуйте, Вера!

– Я пришла попрощаться, – тихим, лишенным всякого выражения голосом произнесла соседка. – Екатерина Сергеевна и Трофим умерли...

– Господи! – невольно вырвалось у Китаева.

– Их больше нет, – у Веры дернулась голова, будто ее пробил электрический ток, – тела я отвезла на кладбище, – в горле у Веры что-то булькнуло. Это были слезы.

– Господи! – вновь вырвалось у Китаева.

– Квартиру я забила досками, чтобы никто не забрался. Ежели что, присмотрите за ней, пожалуйста.

– Присмотрим обязательно, – тут голос у Китаева сорвался, что-то с ним произошло, он не мог больше говорить – слишком ошеломляющей была новость о смерти соседей.

Впрочем, в блокадном Питере, как на фронте, человек, узнавая о чьей-то смерти, почти ничего не ощущает... Линия фронта проходила совсем рядом с городскими кварталами, до окопов можно было добираться на трамвае – прямо на передовую ходил вагон, соблюдал расписание. В Ленинграде со смертью были также хорошо знакомы, как и на Пулковских высотах, и на Невском пятачке, и на Ладого, и среди проломов во льду «дороги жизни»...

Немцы обстреливали Ленинград по одиннадцать часов в сутки, снарядов не жалели, но от голода людей все равно погибало больше, чем от обстрелов.

– Как же так, как же так? – у Китаева прорезался зажатый голос, – немного отпустило, – собственно, это даже не голос был, а шепот, незнакомый, какой-то дребезжащий, ржавый, – Екатерина Сергеевна и Трофим умерли, а мы и не знали.

– Ничего не поделаешь, – пожала плечами Вера. – Это жизнь.

– Это не жизнь, а смерть, – поправил ее Китаев.

Когда Вера ушла, уже не хотелось ни есть, ни блинчики жарить – Китаевым овладело странное, знакомое многим голодным людям равнодушие, когда ничего не хочется, ничто не

привлекает внимание, весь мир, все предметы вместе с воздухом бывают окрашены только в один цвет – серый, – и человек ничего не ощущает, даже боли.

Несколько минут Китаев соображал, сообщать больной, ослабевшей от голода матери о смерти соседей или нет, и в конце концов решил не сообщать – пусть вначале поднимется на ноги, а там видно будет. Подцепил плоской деревянной лопаткой несколько блинчиков, скинул их в тарелку, проковылял в соседнюю комнату.

– Мам, поешь, – протянул тарелку исхудавшей, со светлыми проваленными глазами матери. – Сейчас кипяток будет готов... Поешь.

– Кто приходил? – неожиданно спросила мать. Китаеву казалось, что мать так же, как и он, от голода ничего не слышит, но мать засекла приход соседки.

– Вера приходила, – неохотно сообщил он.

– Чего хотела?

– Да я, собственно, так ни шута и не понял, – попробовал схитрить Китаев, но мать подняла правую руку, пошевелила синеватым холодным пальцем из стороны в сторону.

– Не ври, Володя, – сказала. – Ты не умеешь это делать.

– Да не вру я, мам.

– Врешь. Умерла Екатерина Сергеевна, а ты от меня решил это скрыть. Зачем? – голос у матери был спокойным, сухим, ничто в нем не выдавало особого волнения.

– Мам, у тебя чего, прорезался слух?

– Он у меня и не пропадал.

Китаев согнул неловким крючком палец, показал его матери:

– Загибаеть, мама. Слух у тебя пропадал, но сейчас восстановился. А чтобы он не пропал у тебя снова, съешь пару блинцов.

Мать вдавилась головой в подушку, в горле у нее возник и тут же исчез слезный взрыд.

– Жалко Катю, – произнесла она сухо, бесплотно как-то, – жалко Трофима, – во рту у нее снова возник и исчез взрыд. – Значит, Вера осталась одна... – над лицом матери появился легкий парок, несколько мгновений повисел неподвижно, затем неторопливо растаял. – Куда она направилась, не сказала?

– Сказала. К родственникам. Больше ей деваться некуда.

Мать закрыла глаза, давая понять, что на дальнейший разговор у нее нет сил.

– Мам, ты съешь блинчик, – попросил Китаев, – хотя бы один.

– Не могу, – мать открыла один глаз, тусклый, измученный. Второй глаз не открывался, он залип, – слишком уж они горькие, эти деликатесы.

– Других, мам, нету, – Китаев вздохнул. Мать все время держалась, вела себя мужественно, не жаловалась, стойчески переносила и голод, и холод, но вот сейчас, когда заболела, что-то в ней надломилось – начала капризничать. – Чтобы было не так горько, тебе подарок, – Китаев сунул руку в карман и достал кусочек сахара.

Маленький, темный, казавшийся запыленным кусочек сахара. От удивления у матери открылся второй, залипший глаз.

– Держи, мам, – Китаев сунул ей сахар в жесткую, заскорузлую руку, – сейчас я тебе кипятка дам. Только съешь хотя бы пару блинцов, пожалуйста.

Мать согласно кивнула. Сахар ей не помог – на втором блинчике она споткнулась. Пожаловалась:

– Они не только горькие, но и керосином пахнут.

– Это, мам, от машинного масла. Больше жарить не на чем, – голос Китаева был тих и терпелив, исполнен сочувствия – он боялся, что мать умрет. Ей бы сейчас чего-нибудь мясного, котлетку, а еще лучше – пару котлет, и за котлетами, конечно, можно было пойти на рынок, но...

На рынок ходить было опасно – там разные усатые старухи с раздобревшими лицами торговали мясными изделиями... Из человечины.

Семья из соседнего дома купила десяток котлет, – точнее, выменяла их на перстень с сапфиром, – и в одной из котлеток обнаружила человеческий ноготь.

На Пискаревском кладбище дежурит специальный патруль, останавливает всех, кто выходит с кладбища с сумками. Если в сумке обнаруживает мясо – расстреливает без суда и следствия, без всякого разбирательства. Говорят, таков приказ самого Жданова.

– Поешь, мам, – терпеливо упрасивал Китаев, но мать отказывалась, двигала по подушке головой и плотно стискивала губы.

В голоде такое случается: наступает момент, когда человеку не хочется есть, ему кажется, что он сыт, любая пища, которая попадает в поле зрения, не нравится... Наступил такой момент и у матери.

– Не капризничай, мам, – просил Китаев, но мать еще крепче сжимала рот и на просьбы сына не реагировала.

Китаев расстроился, заморгал часто – был готов заплакать, молил Бога, чтобы мать не умирала, потянула еще немного. И Бог услышал мольбу человека – наутро мать приподнялась на постели, огляделась. Китаев опустил ноги с кровати, окунаясь в утренний холод, как в кипяток, навис над ожившей матерью:

– Тебе плохо?

В дрожащем сером воздухе лицо матери расплывалось, опухшие щеки беспомощно висели, будто ошмотья, подглазья тоже висели... Раньше Китаев даже предположить не мог, что от голода человек может полнеть, – оказывается, может. Впрочем, нездоровая полнота эта называлась опуханием. Сам Китаев, например, боялся заглянуть в зеркало и увидеть там вместо себя незнакомого человека.

– Не поднимайся, мам, – попросил он.

– Мне уже лучше, – сказала мать.

Ей действительно сделалось лучше: те блинчики, от которых она упрямо отказывалась вчера и которые ей тщательно сберегал Китаев, сегодня пошли, что называется, влёт – мать съела их с удовольствием.

Дело пошло на поправку. Видать, имелся кое-какой запас в истощенном организме, раз у матери появилось второе дыхание, а вот Китаев чувствовал себя хуже, чем вчера, много хуже.

На следующее утро уже не сын ухаживал за матерью, а мать за сыном – взяла ведро с привязанной к дужке веревкой и пошла на улицу за снегом.

– Аккуратнее, мама, – просипел ей вслед Китаев, – не поскользнься.

Если бы имелись силы, неплохо было бы сходить за водой на Неву – слишком уж дерет горло пресная снеговая вода, в ней нет никакого вкуса, от живой речной воды она отличается разительно, – но сил не было, поэтому приходилось приносить в дом снег и растапливать его.

Мать приподняла руку – поняла, мол, – и исчезла за дверью.

С делом этим она справилась успешно – принесла ведро снега с верхом, притоптанным ладонью, чтобы не рассыпался, умело разожгла колченогую железную печушку, кинув в нее десяток паркетин, выломанных в опустевшей квартире, расположенной этажом выше, и когда в нутре печки затанцевало, звонко защелкало, заухало пламя, поставила ведро на прогнутую прямоугольную спину «отопительного прибора».

– Молодец, мама, – едва слышно прошептал Китаев. – За это ставят пять баллов.

Где-то далеко, плохо слышная отсюда, из квартиры, завывала сирена, а в круглой, склеенной из плотной черной бумаги радиотрансляционной тарелке также кто-то ожил, и через несколько секунд послышался бесстрастный размеренный звук метронома.

Когда выли сирены, в Ленинграде ожидали немецких самолетов – прорвались, значит, гады к городу. Когда же начинал работать метроном – готовились к обстрелу: фрицы, выпив кофе, надевали на лапы двухпалые рукавицы и вставали к орудиям.

Обстреливали они Питер методично, долго, но обстрелы были менее противны, чем налеты бомбовозов. По вою снаряда всегда можно было понять, куда он направляется, какого калибра и вообще, твой он или нет, а вот авиационная бомба – существо непредсказуемое, никто никогда не определит, где она упадет. Китаев прислушался к метроному, свернулся, как в детстве, калачиком, – метроном и вой сирены означали, что город будут и снарядами обстреливать, и бомбить с самолетов, все одновременно.

Вскоре послышались взрывы. Раздались они недалеко, кварталах в трех от дома Китаевых, но ни мать, ни сын не обратили на них никакого внимания: к смерти Ленинград привык.

Через несколько часов и сирена прекратила выть, и метроном утих – наступал тяжелый, давящий зимний вечер...

Спустя два дня мать, сидевшая у печушки в расслабленной позе, неожиданно вскинулась, лицо у нее напряглось и она, сопротивляясь некой странной догадке, возникшей в мозгу, неверяще покачала головой.

– Не могу ничего понять, – пожаловалась она сыну. – У меня что, галлюцинации начались?

– Ты чего, мам, – сын обеспокоенно приподнялся на постели, – чего случилось?

– Мне кажется, в квартире наших соседей, у Голубевых, кто-то находится. Или это галлюцинации? Но как галлюцинации могли пробраться сквозь стенку, а?

– Не знаю, – неуверенно отозвался сын, – надо послушать.

Хоть и проходили звуки через стенку едва заметно – их почти не было, а Китаев все-таки сумел различить слабый кашель и глухой, очень далекий стук – на пол что-то упало...

Китаев позвал мать.

– Мам, там действительно кто-то есть.

– А я о чем говорю?

– Что делать?

– Надо посмотреть, что там происходит. Пойду...

– Я с тобой.

– Не вздумай! Не поднимайся, лежи!

– Нет, мам, одну тебя я не отпущу. А вдруг там грабители? – Китаев ощутил, как по телу у него поползла колючая сыпь, ему сделалось холодно – ну словно бы кто-то напихал под одеяло льда и несколько кусков прилипли к груди и животу. Он с шипеньем втянул в себя воздух.

– Господи, Володя, у Голубевых же нечего брать... Как и у нас – тоже нечего брать. Ни мы, ни они не имеем ни фамильных драгоценностей, ни золота в монетах, ни бриллиантов в шкапулках... Надо все-таки посмотреть, что там происходит.

– погоди, мам, – Китаев, сипя, спустил на пол ноги в носках, в которые были заправлены штанины старых шевиотовых брюк. – Я с тобой.

– Не поднимайся, лежи, – мать протестующе выставила перед собой руку, через полминуты опустила – поняла, что сына не остановить, он обязательно пойдет с ней, как бы худо себя ни чувствовал.

Дверь квартиры Голубевых была заколочена досками, доски никто не трогал, площадка перед квартирой была покрыта белой изморозью...

– Померещилось мне, – постояв немного перед дверью, произнесла мать. – Тут никого нет. Слуховые галлюцинации.

– У двоих не могут быть слуховые галлюцинации, – просипел Китаев. – Если и могут быть, то только у одного. Я тоже слышал звуки в этой квартире. Кашель и стук.

– Выходит, тут кто-то есть?

– Есть. Квартиру надо взламывать – посмотреть, что в ней происходит.

Легко сказать – взламывать, да трудно это сделать: Китаев едва стоял на ногах, мать тоже – любой ветерок мог сшибить с ног. Но тем не менее доски с двери отрывать надо...

Они все-таки справились с этой тяжелой задачей, два полуживых человека, Володя Китаев и его мать, сняли доски, а когда открыли дверь, в лицо им ударил запах гнили и испражнений.

В большой комнате, на кроватях, лежали двое – слава Богу, живые – Екатерина Сергеевна и ее сын Трофим. Ни встать с кроватей, ни ходить они не могли, лежали тихо, лишь изредка переговаривались шепотом, сэкономили силы и безропотно ожидали конца.

Вот к какой смерти приговорила их жена Трофима Верка.

Она заколотила дверь, чтобы никто не заходил в квартиру, не выламывал паркет, не топил им свою печку, не отдирали от стен обои, чтобы разжечь огонь. По разумению Верки, и муж ее Трофим, и свекровь были уже не жильцы, и им в принципе все равно, что будет с ними потом – похоронят их в общей яме на Пискаревском кладбище, либо они высохнут, превратятся в мумии здесь... А большая квартира эта по юридическому праву останется за Веркой, и она будет ею владеть.

У Китаева при виде двух мучеников подогнулись ноги, и он опустился на пол. Расслабленно всхлипнул. Ходили Голубевы под себя, вставать уже не могли, поэтому квартира и была наполнена таким тяжелым гнилостным духом.

Отдышавшись немного, Китаев подполз к печушке и, распахнув дверцу, побросал внутрь остатки нескольких реек, оторванных от какого-то хлипкого забора, потом минут пять, не меньше, пристраивал деревянные обломки в печном нутре, выкладывая из них домик, который мог бы загореться, поскольку спички в блокадном Ленинграде были товаром более дорогим, чем топливо.

Под домик Китаев подложил пару листков, выдранных из книжки, валявшихся тут же, на полу, также свернул их умело и только потом достал из кармана большую спичечную гребенку. Спички в осажденном городе делали в виде гребенок – брали плоскую деревяшку-дощечку и делали в ней надпилы почти до основания. Оставляли лишь немного, чтобы каждый зуб этой диковинной гребенки мог держаться, а верхушки окунали в расплавленную серу. Вот такими спичками пользовались ленинградцы. Зажигались спички просто – запалить можно было, просто чиркнув серной головкой по подошве-терке. Раздавалось шипение, потом треск, затем возникало рыжевато-теплое пламя. Китаев вытянул из кармана пальто спичечную гребенку, отломил один зубец. Прошло еще немного времени и в печушке заиграло бойкое пламя.

Именно в эту минуту заключенный номер 56342-58 Китаев всегда просыпался, дальше дело не заходило – ну словно бы обрывалась пленка, либо на видении пламени заклинивало некий аппарат, находившийся в его организме, – просыпался от того, что ему было и холодно, и голодно, а дежурный зек что было силы колотил по опустевшему за ночь питьевому ведру и вопил во всю глотку:

– Подъем, славяне!

Их барак, проходивший в лагерных документах под номером четыре, был политический, тут сидели люди, осужденные по пятьдесят восьмой статье. В бараке уголовников дежурный до слова «славяне» никогда бы не додумался, не произнес бы его, там в ходу были другие слова. И темы разговоров, и ссоры, и песни были другие – все другое.

Китаев дернулся, приподнялся на старом ссохшемся матрасе и тут же опустил голову на серую грязную подушку: хотелось спать, очень хотелось – несмотря на то, что он проснулся сам – выплыл из сна за несколько мгновений до крика, недовольный тем, что сон оборвался. В ту же секунду получил легкого тумака от своего земляка, ленинградца Егорунина, в прошлом старшего лейтенанта фронтовой разведки, награжденного тремя орденами Красной Звезды.

Редко кто в наземных войсках бывал награжден тремя орденами Красной Звезды. Один, два – это еще куда ни шло, а вот три – это была большая редкость; плюс ко всему, у старлея были и другие ордена – Отечественной войны первой степени и совсем уж удивительная награда – орден Богдана Хмельницкого второй степени, а также две серебряные медали, приравненные в солдатском мире к орденам – «За отвагу».

Заслуженный, в общем, был человек – старший лейтенант Саня Егорунин.

– Подъем, братишка! – бодро просипел земляк.

Пребывал в их бараке еще один ленинградец – ученый человек Сташевский, преподававший до войны в университете марксизм-ленинизм, но очень уж он был зашоренный, Маркса почитал выше Бога, и это Китаеву не нравилось. А уж что касается Егорунина, то тот при упоминании фамилии Сташевского делал небрежный взмах рукой: обреченный это человек... Марксист!

Казалось бы, им, трем землякам, надо было держаться вместе, подсоблять друг другу, но Сташевский, считавший свою телегу больше и важнее, чем телеги двух других ленинградцев, все время отъезжал в сторону, старался находиться на горке, козырял знаниями своими, грамотностью, бывшим своим университетским положением, искал в бараке ровню себе – искал, но не находил. Не везло Сташевскому.

Хотя, – тут не грех повториться, – весь четвертый барак объединяла одна статья Уголовного кодекса, общая для всех, – пятьдесят восьмая. Осужденных по этой статье называли по-разному – и суками, и предателями, и политиками, и фашистами, и контриками, и фраерами законтренными, – но Сташевский ни к первым, ни ко вторым, ни к третьим себя не причислял.

Получив второй тумак от бывшего старлея Егорунина, Китаев, ощущая, как внутри у него все скрипит, устало, разлаженно сбросил с нар вниз ноги, потряс головой резко, по-птичьи, вышибая из себя сонную одурь, словно пыль, поднялся...

– Всем на переключку! – послышался вопль – это в барак к «политикам» заглянул один из уголовников. Только они могут реветь, как кастрированные верблюды, больше никто.

– Эван как! – воскликнул Егорунин. – Что-то граждане начальники спешат сегодня, даже умыться не дали.

– На работе умоешься, – фыркнул Христинин, свой же брат-фронтвик, успешно штурмовавший Берлин и видевший обгорелые трупы Гитлера и его невенчанной жены Евы Браун. Лейтенант Христинин командовал взводом в отдельном саперном батальоне и знал, чем отличается порох от марганцовки и как поведет себя фольксштурмовец, если в задницу ему вставить фауст-патрон, а затем нажать на спуск.

Был Христинин человеком жестким и одновременно веселым, он словно был начинен некой брызжащей легкой злостью, которую из него не смогли вытравить ни фронт, ни лагерь. Попал он в кутузку после Парада Победы, на котором присутствовал в качестве «вспомогательной единицы», как считал он сам – помогал бригаде, обслуживавшей сводную колонну родного фронта. И допомагался.

Вечером, когда закончились послепарадные хлопоты, на радостях хорошо нагрузились, опорожнив небольшой компанией четыре бутылки «красноголовой» – водки, запечатанной сургучом цвета выгоревшего на солнце знамени, Христинин поспорил со старшиной вспомогательной команды... Поспорили на тему скользкую: старшина утверждал, что товарищ Сталин прилетал в Берлин во время штурма германской столицы, чтобы все увидеть своими глазами, Христинин же, напротив, заявлял, что Верховный Главнокомандующий в действующих войсках бывал редко – не царское это дело...

В результате утром, когда бывший командир саперного взвода отмокал, засовывая собственную голову под струю воды, бодро хлеставшую из пожарного крана, за ним пришли.

Старшина оказался тем человеком, с которым Христинину меньше всего хотелось связываться... Но не уберется он, не вычислил сексота – секретного сотрудника. В результате – пятьдесят восьмая статья.

Причем, ясно как Божий день, что статья будет иметь продолжение: когда Христинин отсидит положенный срок, отмеренный судом, ему отмерят новый.

«Кум» из канцелярии – специальный оперативник – этим уже занимается. Бывший сапер это знал, но не унывал – проводить в лагерях всю жизнь он не собирался. В конце концов он улетит отсюда на метле либо верхом на печной трубе, уплывет на кирпиче вверх по Оби, которая не так уж далеко от лагеря и протекает, или же специально изучит шахтное дело и зароется в землю, выберется наружу где-нибудь около Тюмени. Хотя «около Тюмени» вряд ли, до этого города – не менее тысячи километров, слишком много махать кайлом придется.

День выдался хмурый, с прогнувшимся дырявым небом, с которого на землю сыпалась противная холодная мокредь.

Перед бараком ходил, похлопывая плеткой по голенищу сапога, «кум» – тощий, похожий на петуха хмельного либо попугая, мужик с мятыми погонами на кителе, известный тем, что ему очень нравилось выстраивать бывших фронтовиков в послушную шеренгу и выступать перед ними с «лекциями, прочищающими мозги», как говорил он сам.

– После моих лекций даже Гитлер отказался бы от своих идей и пошел бы копать канавы на ячменных полях Баварии, – довольно складно вещал «кум», красуясь перед заключенными.

Опасное заявление. Когда-нибудь ему наступят каблуком на хвост, чтобы не ходил по лезвию ножа.

Нос у «кума» был действительно попугайский – огромный, дугой, такие носы в России – штука редкая, и походку оперативник имел попугайскую – нервную, подпрыгивающую.

– Сегодня из лагеря выходим с вещами, – прокаркал «кум» мрачно, – до поздней осени, до конца октября мы сюда не вернемся, понятно? – «кум» пропрыгал вдоль строя. – Все лето вы будете работать на благо нашей великой страны, понятно? Чтобы народ наш жил счастливо. Понятно, фашистское отродье, или нет?

Сам «кум» на фронте не был, фашистов видел только в кино, на кителе у него красовалась колодка лишь одной медали – трудовой, которую выдавали всем, кто работал в тылу, в том числе и охранникам лагерей. Перетрудившийся «кум» много дней провел в дежурствах на караульной вышке, зубами от холода настучался вдоволь. В результате челюсти ему заменили на искусственные, а за профессиональное бдение на работе, за нюх и умение носить автомат ППШ на плече в торжественной обстановке вручили заветную награду...

Христинин, весело и зло улыбаясь, стиснул зубы. Китаев догадывался, что сейчас у бывшего сапера роится в голове, какие мысли бродят и какие слова готовы соскочить с языка, восхищался им.

– Не слышу ответа! – Попугай вздернул голову и повысил голос. – Совсем обнаглели, гитлеровцы!

На погонах у «кума» поблескивала одна-единственная звездочка. При одном просвете для оперативника этого явно было недостаточно, тем более, что младшему лейтенанту этому было уже не двадцать и не двадцать пять лет, а много больше... Да и «кумовья» в других лагерях были старшими лейтенантами, капитанами и даже майорами. Этому же повышение, видать, не светило – не хватало грамотешки. Зато имелась хватка.

Впрочем, качество это, именуемое хваткой, в Управлении лагерей приветствовалось даже больше, чем образование.

Один из стоявших в шеренге зеков переступил с ноги на ногу, следом раздался короткий вскрик и справа послышалось сиплое, словно бы сплющенное тяжестью:

– Понятно.

Зеки четвертого барака, стоявшие в шеренге, неодобрительно переглянулись – никто из них явно не хотел отвечать на вопросы «кума», но вот один все-таки не сдержался, сдал... Жаль, что ему не успели зажать рот.

– То-то же, – удовлетворенно произнес «кум» и прошелся вдоль шеренги. М-да, походка у него была такая, будто он хромал на обе ноги сразу.

– Завтрака не будет, – каким-то не своим, внезапно сделавшимся ликующим голосом объявил «кум», – перекус сделаем в пути. А потом, ежели вы, фашисты, не пожрете один денек, Родине от этого только польза будет – больше еды сохранится и меньше говна останется на обочине дороги, по которой вы пойдете. Понятно?

На этот раз каркающее «Понятно?» «кума» осталось без ответа. «Кум» распахнул было рот, чтобы произнести очередную фразу насчет «потерявших всякий стыд фашистов», но Христинин точно уловил, что будет дальше и сделал заключение:

– Все, цыпленок сдох!

– На сборы – десять минут, – прокаркал «кум» и, отойдя в сторону, сел на скамейку. Из-под рукава кителя выпростал циферблат больших часов, нацепленных на модный лаковый ремешок, и демонстративно постучал пальцем по стеклу: время, мол, пошло...

В общем, кто успел, тот и съел, а кто не успел... В этих рядах оказаться не хотелось, и Китаев бегом бросился в барак.

Выступили через десять минут – часы у «кума» шли точно. «Куму» подвели верховую лошадь – гнедого мерина, неуютно чувствовавшего себя под кавалерийским седлом. Оперативник неловко вскарабкался на него, просунул носки сапог в стремя, поправил на плечах погоны и победно, придирчивым оком глянул на длинную колонну заключенных.

Увиденное удовлетворило его, и «кум» указующим движением послал в пространство правую руку:

– Вперед!

Поселок, считавшийся лагерным центром, обходили по обводной дороге, чтобы, не дай Бог, не накидать на улицы, где жили старшие офицеры, вшей. А вши так вгрызлись в телогрейки, прикипели к швам, что сами становились тканью, нитками, частью одежды, строчками и пуговицами, некоторых из них надо было выцарапывать гвоздями, иначе не взять. Другие же, наоборот, любили путешествия и совершали, как блохи, полуметровые прыжки.

Улицы поселка были нарядные, ухоженные. Оставшиеся здесь на поселение зеки буквально языком вылизывали каждую доску тротуара, каждый камень, вдавленный в земляную плоть проезжей части, мокрыми тряпками обмахивали мусорные урны и перила на всяком более-менее командном крыльце.

Имелись в поселке и свои удобства: здесь работал профессиональный театр – из зеков-актеров, были магазины с добротными товарами для офицерского состава, куда «куму», кстати, тоже была открыта дорога, – ателье, прачечная, дом культуры, где по два раза на день крутили фильмы, мастерская по пошиву сапог – обычных штатских бареток тут, увы, не производили; ресторан с вечнозелеными пальмами, чьи огромные, блестящие, будто бы отлакированные листья были истырканы дырами, оставленными горящими сигаретами, – почему-то старший комсостав любил это дело больше, чем пирожки с повидлом – не надо никаких пирожков, дай лучше возможность пару дырок в листьях прожечь, и так далее. Словом, здесь протекала жизнь, которая была совершенно неведома «фашистам», бредущим в колонне четвертого барака.

И многим из них этой жизни уже не увидеть никогда. Не дано!

– Жаль, – привычно воскликнул Христинин, – не удалось поселковое начальство наградить двумя десятками отборных вшей, которых я для них приготовил специально. – Засмеялся, на ходу хлопнул ладонями по коленям, изображая плясовой ритм.

– Ничего, и на нашей улице будет играть барабан, – не выдержал, отозвался на христианские слова Егорушин, – вот увидите...

В чем, в чем, а в этом Китаев не сомневался.

Вдоль пыльной, полной канав дороги росли чахлые, с грубыми коричневыми стволами березки, которые хотя и зазеленели уже, но ожить пока не ожили – это было еще впереди. Серая пыль опушкой обмахнула края листьев, кое-где перекрасила и сами березки – те, которые стояли подальше от дороги, – шевелящимся тонким слоем укладывалась на траву, на метелки тощих кустов, обметивших обе обочины. Даже куропатки, обычно нарядные, белые, и те стали серыми от пыли.

Пыль медленным густым столбом поднималась за колонной и долго висела в воздухе, роилась, словно туча гнуса, никак не желала стекать вниз, на землю.

«Кум» иногда приподнимался в седле и острым полководческим взглядом окидывал колонну, выкрикивал горланно и трескуче:

– Подтянись!

Иногда на обочинах возникали низкорослые белесые цветы, которые гнездились кучно, тянулись к солнцу своими небольшими, жаждущими света головками, разворачивались вместе с ним – то ли ромашки это были, то ли подснежники, то ли еще какая-нибудь ерунда – этого в колонне никто не знал. Зекам хотелось кинуться к этим неказистым цветам, сорвать хотя бы один, прижать к лицу, к губам, к груди – ведь это были цветы воли, свободы, на лагерной земле они не росли.

На командные вскрики «кума» колонна почти не реагировала, больше реагировала на тумачи охраны, вооруженной автоматами, – охрана, в отличие от «кума», топала на своих двоих, так же маялась, сшибала себе каблучки, как и заключенные, и так же вопросительно поглядывала на железнодорожные рельсы, проложенные метрах в двадцати от грунтовой дороги и двигавшиеся с ней параллельно.

Недалеко от того места, где оборвутся рельсы, им придется разбивать лагерь, – там будет и отдых, и сон, и подарки от охраны: удары прикладами по горбу.

Охранниками в их лагере были в основном малограмотные парни с угреватыми лицами, в большинстве своем с четырехклассным образованием, мобилизованные на вологодской и архангелогородской землях, довольно робкие и одновременно грубые, боявшиеся городских улиц.

В армию их забирали из деревень, из глухих мест, – делали это специально, рассчитывая, что ежели чего случится, люди эти будут стрелять по зекам не раздумывая. Так оно, собственно, и было. Неподалеку от Китаева, который шел в крайнем ряду, топал один такой вологодский, с потным лицом, с носом в виде картофелины и плоским, как у налима лицом. На ходу охранник бухтел, и всуе, и втуне поминал «проклятых фашистов», бесцветными, но очень зоркими глазами своими цеплялся за зеков, выискивая, кого бы огреть прикладом автомата.

На вопрос «За что?» выдавал один и тот же ответ: «Чтоб не мерзнул».

Китаев случайно услышал его фамилию – услышал и запомнил: Житнухин. Бесцветная, невыразительная, очень непонятная, внесенная в метрику, похоже, с ошибкой. Впрочем, как известно, фамилии себе люди не выбирают, их дают родители, независимо от того, согласны с этим младенцы или нет. Четких, с учетом русской грамматики, правописания, фамилий в России мало, может быть, даже почти нет. Встречаются они редко и корневая система их состоит из имен. Иванов, Петров, Симонов, Венедиктов. Так, во всяком случае, казалось Китаеву. Хотя специалистом по этой части он был, конечно, невеликим.

Его собственная фамилия – Китаев – тоже неверная, искаженная, с ошибкой. Правильнее, наверное, будет Китайцев, а не Китаев – от слова «китаец». Можно предположить, что фамилия его возникла от названия огромной восточной страны, от слова «Китай», но фамилии, образованные от частей света, стран, в России не встречаются... Нет у нас ни Европо-

вых, ни Азиевых, ни Франциевых, ни Мадагаскаровых. Есть Французовы – от слова «француз», есть Чеховы – от слова «чех», есть Болгарины – от слова «болгарин», есть Коряковы – от слова «коряк», есть Евревы – от слова «еврей». Все эти фамилии Китаев встречал. Попадались они и в мирной жизни, попадались и на фронте. Господи, что только не приходит в голову, когда бредешь по пыльной неровной дороге, глядя в затылок зеку, едва волокущему ноги перед тобой, какие только мысли не возникают в пустой, лишенной мозгов – все выела каторга, лагеря – черепашке!

Вологодец с искаженной фамилией шел в трех метрах от Китаева, умело подладил свой шаг под шаг колонны и продолжал зло поглядывать на зековский строй.

И автомат свой он держал не как другие конвоиры – за плечами, – повесил его на грудь: был готов в любую секунду выстрелить. Китаев вздохнул: от такого человека можно ожидать чего угодно – порода известная.

Через полтора часа «кум» в очередной раз привстал в седле, огляделся неторопливо и объявил:

– Пятнадцать минут – отдых. Прямо в колонне, на дороге. Можно сесть.

Про то, что «кум» обещал завтрак в пути, он уже забыл – не будет никакого завтрака. Колонна остановилась.

– А как же насчет перекуса? – поинтересовался Христинин. – Обещан же!

– Обещанного, говорят, два года ждут, – «кум» не выдержал, хохотнул, находился в настроении. – Когда привезут, я тебе скажу. – И добавил тоном, неожиданно сделавшимся зловещим: – Персонально.

Несколько человек, не раздумывая, уселись на землю – перемолотую, умятую другими ногами, колесами машин и повозок, где-то сухую, трескучую, словно бы заряженную электричеством, где-то, особенно в низинах – влажную, даже топкую, поскольку грунтовые воды в этих краях подступают к поверхности земли и дорога во многих местах темнеет мокрыми пятнами.

Колонна собралась длинная, заключенных было много. Одним достались сухие, вполне приемлемые места, другим – такие, что не сядешь. А если сядешь, то встанешь с мокрой куриной задницей.

Китаеву досталось сухое место, более того, даже камешек какой-то словно бы специально обозначился, проклюнулся на поверхность, Китаев на него и присел, вытянул гудящие ноги.

«Кум» той порою слез с лошади, достал из мешка, притороченного к седлу, кусок хлеба и кусок темной вяленой оленины, несколько стеблей лука и, поглядывая на голодную колонну, впился зубами в мясо, замычал довольно – оленину завялили недавно, блюдо было свежее, хлеб – утренней выпечки, почти теплый, лук тоже был сорван с грядки утром... Сидевшие на дороге зеки смотрели на «кума» не отрываясь – хотелось есть.

Конвоиры, не выпуская из рук автоматов, тоже занялись перекусом: у кого что было с собою, тот тем и довольствовался.

– Вот сука, – просипел Егорунин, отвернулся в сторону, чтобы не видеть самодовольного, азартно жующего «кума». – На фронте он более двух дней не прожил бы.

Это Китаев знал – сам наблюдал такие вещи: после прорыва Ленинградом блокады он попал на фронт, немного там подкормился, пришел в себя и был направлен тянуть лямку в матушку-пехоту. Поскольку блокада оставила на нем след – во время голода люди худели, превращались в щепки, в неудобно состыкованные костяшки, на которых старой изношенной тряпкой висит кожа, большой лохмот ее, то в щепку, накрытую тряпкой, превратился и Китаев.

Рост его замедлился, он как был телосложением своим мальчишкой, так мальчишкой и остался (не телосложение это было, а теловычитание) – такое происходило едва ли не со всеми ленинградцами, перенесшими блокаду в подростковом возрасте. Поэтому худенького, ловкого, верткого Китаева перевели в разведку... Бродя по немецким тылам, он вполне сходил за мальчишку, собирающего милостыню. Результаты его походов за ту линию фронта всегда

были хорошими, он один мог сделать столько, сколько делала полновесно укомплектованная разведгруппа из трех или четырех человек.

Житнухин перекусывал стоя, даже присесть не захотел. В одной руке держал кусок сала, присланный из вологодской глубинки, в другой – полкраюхи хлеба, звучно работал ртом. Китаев ощутил, как от этого звука у него затяжно занял желудок.

После блокадной голодухи ему все время хотелось есть, всегда, даже если он вылезал из-за стола с полно набитым желудком и в него больше не могло уже вместиться ни крошки – некуда. С годами это чувство не притуплялось, скорее наоборот – становилось сильнее. Он отвернулся от конвоира – пусть себе жрет...

Правда, подавиться может, но это дело личное, конвоирово, если подавится, то зеки не будут в этом виноваты.

Ровно через пятнадцать минут «кум» вытер губы газетой, огляделся неторопливо и командовал:

– Колонна – шагом марш!

Житнухин не растерялся, огрел прикладом двух замешкавшихся зеков – те даже взвизгнули от боли и в строй буквально впрыгнули. Чего только не происходит во время тупых переходов по замызанной проселочной дороге, на чем только не застревают мысли... Когда голова занята чем-нибудь, идти бывает легче.

На фронте Китаев был награжден орденом Славы третьей степени и медалью «За отвагу» – самой почетной солдатской наградой, гордился ею не менее ордена. Был представлен и к двум другим наградам, но угодил в госпиталь, так что наверняка бродят его ордена из полка в полк, ищут своего хозяина.

И не найдут, поскольку Китаеву не дано их получить, да и прежние награды у него изъяли – так решил трибунал. Тот же трибунал упрятал бывшего разведчика в места не столь отдаленные на целых пять лет. Этим дело, как предполагал Китаев, не ограничится – к пяти годам, уже почти проведенным в лагере (скоро – финишная ленточка), явно прибавятся еще пять, такие же каторжные, а потом, если он будет жив – еще...

Голова у Китаева дернулась в такт шагам и, тяжелая, наполненная болью, опустилась на грудь. Сердце сдавила обида. С обидой и болью надо было бороться. Китаев всосал сквозь зубы воздух, поводит языком во рту, словно бы счистил боль, – выдохнул.

Больше всего было жаль мать – она и так многохватила в пору блокады, заглянула даже на тот свет, но Всевышний распорядился вернуть ее назад.

Как она там, жива или нет, у кого узнать? Переписка Китаеву была запрещена. И еще один человечек находится в Ленинграде, о котором Китаеву хотелось что-нибудь узнать – Ирка, Ира, Иришка... Ирина Самсонова, если официально. Китаев познакомился с ней, когда получил на фронте отпуск и прикатил в Ленинград. Познакомился на набережной, напротив Эрмитажа – Ира сидела на парапете и зубрила тексты из какой-то мудреной книжки – готовилась поступать в технологический институт. Иногда вскидывала голову, задумчиво вглядывалась в свинцовую воду Невы, улыбалась чему-то своему, только ей ведомому и вновь углублялась в книгу. Китаев не знал, с какой стороны можно к ней подъехать – слишком уж девушка была погружена в процесс чтения, но все-таки изловчился, подъехал...

Наверное, орден ему помог – сиял на его гимнастерке так же призывно и лихо, как, наверное, сияют только звезды Героев Советского Союза. В результате Ира отложила книгу, и они пошли гулять по набережной Невы, затем заглянули в Летний сад. Там ели мороженое – вкус его Китаев ощущает до сих пор, хотя вон сколько времени прошло с той встречи – четыре с лишним года... Впрочем, на фронте он совсем забыл, что есть такая сладкая штука, как мороженое.

Несмотря на частые встречи с бравым солдатом с орденом на груди, отвлекавшего от наук абитуриентку, Ира Самсонова поступила в институт...

Где она сейчас, Ира Самсонова, тоненькая девочка с чистым лицом и большими серыми глазами, что сейчас поделывает и ждет ли его? Вряд ли ждет и вряд ли захочет связать свою судьбу с человеком и вообще с людьми, которых «кум», брезгливо отклячивая нижнюю губу, называет фашистами, берлинскими недобитками, гитлеровцами и так далее. Китаев стиснул зубы.

Слезная боль полоснула его по сердцу, но очень быстро прошла – Китаев научился справляться с такой болью.

Качаясь в колонне в такт движению, кося глаза на автомат Житнухина, Китаев отметил, что башмаки, славная обувь зековская, стучат по земле, как твердые подошвы ладных офицерских сапог, рожают в душе бравую мелодию – несмотря ни на что рожают, вот ведь как... У Китаева на глазах проступила влага. На ходу он стер ее грязным кулаком.

Обеденный привал «кум» сделал через три часа – усадил колонну на дорогу, велел отдыхать, сам же занялся продуктовым мешком – раздернул горловину, достал из неглубокого, но вместительного нутра кулек с пирожками.

Пирожки жена приготовила двух видов: с повидлом и капустой, внешне они ничем не отличались друг от друга, «кума» это разозлило и он обругал жену:

– Вот сука!

Наугад он выбрал пирожок с капустой, решил начать с него трапезу, но когда надкусил, то изо рта у «кума» потекла сладкая сливовая начинка, прилипла к подбородку.

Обманутый едок еще раз выругал жену:

– Вот с-сука! – посмотрел на надкушенный пирожок, поморщился недовольно и зашвырнул его в большой запыленный куст.

Сразу несколько зеков, сидевших на дороге, вскочили, чтобы кинуться за лакомой вещью. В то же мгновение, пресекая любую попытку выйти за пределы дороги, клацнули затворы нескольких автоматов.

– Наза-ад! – выкрикнул, наливаясь кровью, Житнухин. Лицо у него мгновенно сделалось свекольно-ярким. Житнухин вскинул перед собою автомат, осталось только надавить пальцем на спусковой крючок.

Вскочившие было зеки поспешно шлепнулись на дорогу, взбили облако пыли. «Кум» ухмыльнулся, достал из своей торбы второй пирожок. На этот раз он угадал – пирожок был начинен капустой. То самое, что он хотел...

Распахнул «кум» рот пошире и всадил в пирожок зубы. Сладкие пирожки – это еда на закуску, а вот пирожки с капустой да с луком, сдобренным мелко крошенными куриными яйцами, – то самое, что надо. «Кум» не удержался, растянул набитый едой рот в улыбке, широко растянул, так что из него начала сыпаться еда... Влажная жеванина, да прямо на китель... «Некультурственно!»

Сидевшие в Гулаге по-разному называли таких людей, как «кум». Можно составить целый словарь (и наверняка такой словарь уже составлен где-нибудь в лагерных глубинах) – и «фюрерами», и «табунщиками», и «вертухаями», и «хаблом», и «утюгами», и «железными носами», и «браминами», и «мордюками», и «пупкарями», и «судаками», и «тремя сбоку», и «цилерщиками», и «кандюками»... Список можно продолжать долго. Конечно, всех прозвищ Китаев не знал, но как человек любопытный, наученный разведкой все запоминать, даже самые неприметные мелочи, знал очень многое.

Через пятнадцать минут «кум» насытился, вохровцы-охранники – тоже, и колонна голодных зеков была поднята на ноги.

– Потерпите, господа гитлеровцы, – подбодрил заключенных «кум». – Бог терпел и вам велел. Завтракать будете вечером, когда придем на место. Вперед!

Колонна, стена, притопывая башмаками, плюясь, двинулась дальше.

На севере, от станции Чум, а еще точнее, – от Воркуты было начато строительство новой железной дороги, чтобы пустить ее на восток, к Салехарду, а затем еще дальше – к Надыму. Решение такое – вполне дальновидное, хозяйское, нужное для страны, было принято самим Сталиным.

На Северном Урале геологи разведали нешуточные запасы цветных металлов, в том числе и золота, и черного металла, как в ту пору называли железо, и угля. Во многих местах болота были покрыты радужными бензиновыми разводами – это означало, что откуда-то из-под земли, из-под болотной бездони, богато населенной нечистой силой, на поверхность просачивается нефть... Значит, здесь есть и нефть, ее только надо найти.

Ну а кроме нефти – несметь всего иного: марганец, хром, цинк, медь, свинец, бокситы, фосфориты, бариты. Все это было очень нужно измученной войной стране, хозяйство которой за годы с сорок первого по сорок пятый было опрокинуто и лежало сейчас на боку. Возникло огромное количество дыр, которые надо было спешно латать. На все это не всегда хватало времени, но не время было главным – не хватало материалов.

Чтобы подобраться к северным богатствам, нужно было построить толковую, очень качественную железную дорогу. Без нее ни хромиты, ни железную руду, ни цинк с медью не вывезти.

Вспомогательная железная дорога имелась, с трудом проложенная, среди болот и мерзлотных линз, – до Воркуты. В шахтерскую Воркуту можно было попасть прямо из Москвы, с Ярославского вокзала, но дороги этой было недостаточно даже для того, чтобы подступиться к месторождениям, не говоря уже о том, чтобы взять их.

Нужна была специальная ветка, которая уходила бы в сторону от главной воркутинской трассы на восток; если смотреть на карту, то вправо. Сталин так и указал это направление – вправо!

Нашел на карте одинокую белую точку, обозначающую станцию, ткнул в нее торцом толстого красного карандаша и прочертил невидимую линию вдоль берега Северного Ледовитого океана.

– Ведем дорогу сюда, – сказал вождь.

Одинокой белой точкой оказалась станция Абезь. И хотя Сталин не настаивал, чтобы дорогу вели именно от Абези, начало свое она взяла на этой станции. Были созданы две гигантских зековских стройки: одна шла с запада на восток и имела номер 501, другая шла из-за Оби, с востока на запад и получила номер 503. Их так и называли: пятьсот первая стройка и пятьсот третья.

И Китаев, и Егорунин, и Христинин, и большинство из тех, кто находился рядом с ними, хватило всего под завязку в лагерях, рассредоточенных в окрестностях Абези. Иногда зеков без особой нужды перебрасывали из одного лагеря в другой, хотя были они возведены по кальке и ничем не различались. Разница, вполне возможно, была только в том, что в одном лагере «кумовья» подобралась подорожее, попокладистее, не обзывали честно воевавших фронтовиков фашистами и не пускали в ход кулаки и приклады, в другом же, наоборот, не стеснялись ни в выражениях, ни в действиях. Других отличий не было.

Каждый лагерь – это тридцать – тридцать пять наскоро, иногда даже временно, на месяц-два построенных бараков, но, как известно, ничего не бывает более постоянного, чем временно возведенные строения. Число зеков в каждом лагере – внушительное, часто – более пяти тысяч человек.

В бараке обычно стояли две печки, сваренные из железных бочек. Топили их так, что с потолка лился частый, как июльские ливни, дождь, очень вонючий, а углы барака, низы стенок

бывали покрыты снежной махрой. Там даже стоять было нельзя – можно застыть, обратиться в лед, рубаха примерзала к спине, а во рту хрумкал лед.

Каждый лагерь, как и всякая тюрьма, имел свой «фирменный» запах, очень часто тяжелый, тошнотный, способный вышибить из глаз слезы. Длина у стандартного барака – немалая, пятьдесят метров, двух печек было явно недостаточно. В барак, заставленный двухъярусными нарами, способно набиться до пятисот человек, а иногда и больше...

В сырую пору, типичную для севера, люди в барак приходили мокрые, пропитанные дождем либо снегом насквозь, растапливали печки, пробовали сушиться, но ничего из этого не получалось – с потолка начинал лить искусственный дождь, а в углах скапливался мороз. Утром зеки в непросохшей одежде выскакивали из барака на утреннюю переключку, а потом уходили на работу в лес.

Каждый день умирали люди, иногда по несколько человек на барак. С мертвыми не церемонились, хватили за ноги, за руки и волокли к отдельному сараю, где трупы складывали в штабеля. Китаев, несмотря на то, что в блокаду видел сотни трупов, видел их и на фронте, к трупному сараю старался не подходить – его мучило.

Особенно плохо было, когда среди трупов оказывались женщины, иногда – совсем юные девчонки, лет восемнадцати, не больше, с посиневшими запавшими лицами, с заостренными носами. Одна такая девушка запомнилась особенно.

Она умудрилась сохранить в лагере свои волосы.

Все зечки волосы свои стригут коротко, чтобы вшам не было за что зацепиться, да и обходиться с короткими волосами проще – в суп не лезут. Туго повязывают на головы косынки, держат, как они говорят в таких случаях, «шевелюру в кулаке». Мертвая же девушка, лежавшая около трупного сарая, попала в лагерь, видать, недавно, волосы по-тюремному не остригла, сберегла либо просто не успела обрезать... И рассыпалась тугая золотистая грива широко, накрыла синие лица других покойников. У Китаева сердце защемило так сильно, что он чуть не заплакал. И сидят-то девчонки в северных лагерях ни за что, сроки получают, по свидетельству бывалых людей, «за колоски».

На каждом колхозном поле после уборки хлеба обязательно остаются несрезанные колоски – не попавшие под серп, под косу-литовку, под мотовило и режущий инструмент комбайна. Поскольку послевоенная пора разносолами не отличалась, то каждая пайка хлеба находилась на счету, учитывалась, люди устремлялись на убранные поля за колосками – не пропадать же несрезанному добру, из колосков пшеницы или ржи можно испечь буханку хлеба. Этим людей ловили – собирать колоски была запрещено, это – привилегия государства. Получали задержанные – в основном, молодые люди, девчонки, только что окончившие школу, – тюремный срок: от пяти до семи лет.

Если колосков набиралось много – например, мешок, – могли получить двенадцать лет. Могли даже дать пятнадцать лет – все зависело от судьбы и прокурора.

Даже за опоздание на работу давали срок – пять лет.

Проклятое время! При всем том Китаев был уверен, что Сталин в жестокости этого времени не был виноват совершенно, виноваты другие люди, которые докладывали вождю лживые факты, правду скрывали, и Верховный Главнокомандующий был совершенно не в курсе того, что на самом деле происходило в правоохранительной системе.

Иногда зеки совершали из лагерей побег... Женщины, например, никогда в них не участвовали. Да и мужчины долго сомневались, стоит затеваться или нет, скребли пальцами затылки, решая шекспировский вопрос: бежать или не бежать?

Зимой тут стоит мороз такой, что во рту смерзаются зубы, а летом нет никакого спасения от гнуса. Гнус – мелкая колючая мошка, способная человека сгрызть живьем, набивается ее в огромных пространствах столько, что всякий светлый день становится серым, воздух дрожит,

шевелится от мошки, будто живой, по плотности он напоминает студень – страшнее гнуса в Приполярье нет ничего... Страшнее может быть только другая мошка, более зубастая.

Удачных побегов здесь практически не было, это – закон для северных широт. В южных зонах, где-нибудь в Таганроге или даже в городе Владимире, – сколько угодно, а тут – нет. Беглеца гнус либо загрызет до смерти и выпьет из него кровь, либо загонит в трясины, в грязную вонючую бездону, и от человека не останется даже малых следов, либо волки схарчат его на закате одного из недобрых осенних дней и запьют болотной водицей – в общем, у всех беглецов, если они примут решение пожить еще немного на белом свете, останется одно – вернуться назад, в лагерь. А уж там как карта распределится на начальственном столе: при плохом раскладе расстреляют, при хорошем – за побег увеличат срок пребывания в лагере либо заставят на обед есть колючую проволоку. В общем, все будет зависеть от того, с какой ноги начальник встанет утром – с левой или с правой.

Автомобильных дорог здесь почти нет. Если есть, то очень короткие, дальше не пускают болота с их бездонной трясиной. Есть еще железная дорога, ведущая в Воркуту, но она одна – узкая, уязвимая, каждый метр ее находится под присмотром вохровских глаз, каждый сантиметр пристрелян из винтовок.

А женщин в суровых здешних лагерях сидит очень много, и большинство из них определили за колючую проволоку буквально ни за что. Встречаются такие, которые за кражу катушки ниток получили восемь лет, если не за нитки, то за метровый отрезок ситца, засунутый в сумку, чтобы крохотной дочке сшить платье – девчужку не во что было одеть. В результате – те же восемь лет.

Китаев видел таких женщин в лесу, на заготовках. Норма на двух обессилевших несчастных девчонок – пять кубометров. Та самая норма, которую не все мужики могут выполнить: из пяти кубов можно соорудить хороший дом.

Хочется помочь таким девчонкам, и многие мужики-зеки помогли бы им, а нельзя – мордастый вохровец, какой-нибудь Житнухин тут же огреет прикладом, врежет по спине так, что только кости захрумят, затрещат, застонут, а потом еще долго будут помнить вохровский приклад. Так что помогать нельзя, можно только молиться за бедных женщин, и те, кто умеет молиться – молятся.

Хотя земля здешняя – проклятая. Молись не молись – все едино: молитвы не помогут, слишком сильное наложено проклятие.

За день колонна голодных зеков смогла отшагать восемнадцать километров. Ни одного человека не было потеряно, и «кум» этим обстоятельством был доволен. На ночь будущих строителей железной дороги определили в загон, сооруженный из колючей проволоки, по углам загона поставили дежурных пулеметчиков: «кум» посчитал, что у зеков может возникнуть соблазн убежать – ветер воли вскружит любую, даже дубовую голову, вскипятит любые мозги – слишком уж велика тяга у людей к свободе. Особенно у зеков четвертого барака, «политиков», прошедших фронт, знающих, чем пахнет кровь, – звери эти, как считал «кум», умеют убивать «венцы природы» одним пальцем и при случае умением этим могут воспользоваться.

Здесь, в загоне, колонну и покормили – привезли несколько бачков холодной «шрапнели» – перловой каши, сваренной еще два дня назад, а в мешках – хлеб. Каждому выдали по двести пятьдесят граммов хлеба. Мало, очень мало, но «кум» бодрым, каким-то заливающимся, будто у весенней птицы голосом пообещал, что утром будет новый подвоз еды, каждый получит свое сполна, в том числе и то, что недодали.

Следом за колонной фашистов, как стало известно из лагерного «радио», шли еще три колонны, сформированные из уголовников, – они отстали от колонны «кума» и были определены на ночевку в другие проволочные загоны. Соответственно у них осела и большая часть еды – уголовники получили по полной пайке.

Один из «политиков» – Китаев слышал, что в прошлом он командовал полком и воевал под Прагой даже после девятого мая: эсэсовские части сопротивлялись до конца месяца, – подошел к «куму» и спросил:

– Добавка будет, гражданин начальник? Не то после целого дня голодухи нам не выдержать...

– Будет добавка, – пообещал «кум», – обязательно будет, – похлопал рукой по кобуре тяжелого пистолета, висевшего у него на поясе. – Девять граммов каждому, кто захочет наестся от пуза. – «Кум» оскорбительно захохотал, собственная шутка ему показалась удачной. В следующий миг увидев, что бывший комполка не уходит и, возможно, будет требовать чего-нибудь еще, прохрипел яростно:

– Пошел вон отсюда, фашист!

Зек, пристально глядя на «кума», только головой покачал укоризненно – был он старше младшего лейтенанта лет на двадцать, голова его уже стала белой от седины; «куму» такая непочтительность не понравилась и он без размаха, коротко и умело, ударил бывшего комполка кулаком в живот, в самый низ груди – солнечное сплетение всегда было у человека очень уязвимой, болезненной точкой.

Комполка охнул, согнулся едва ли не пополам, втыкаясь лицом в собственные колени, показал «куму» незащищенную шею, и тот не удержался от соблазна, всадил кулак в эту шею. Комполка ткнулся седой головой в землю.

– Еще кто-нибудь хочет добавки? – зычным напрягшимся голосом поинтересовался «кум», выпрямился горделиво, будто историческая личность, взобравшаяся на пьедестал памятника.

Зеки – вчерашние фронтовики, сидя на земле, мрачно смотрели на «кума», сплевывали себе под ноги. Егорунин попробовал дернуться, вскочить, но сидевший рядом с ним Китаев схватил за полу телогрейки, осадил.

– Ты чего, сдурел? – просипел он едва слышно. – Тебя сейчас же насадят на автоматную очередь. Как мясо на шампур.

– Верно, – Егорунин повесил голову, желваки на его щеках напряглись, сделались железными.

Комполка тем временем оторвал голову от земли, сплюнул кровь, натекшую в рот.

– А тебе, фашист, чего надо было, а? Ты чего, против ветра ссать решил? Чего поднялся-то? – «кум», сопровождаемый Житнухиным, подошел к Егорунину, встал в стойку, чтобы удобнее было бить. – А? – глаза у «кума» сделались белыми, ничего хорошего это не предвещало. – А?

– Камень под задницу попал, вот и пришлось приподняться, – прохрипел в ответ Егорунин.

– Фашист – он и есть фашист, ничто его не перевоспитает, – «кум» оттянул правую ногу и ударил Егорунина; увидев, что зек пытается прикрыть бока локтями, чтобы от ударов не пострадали ребра, разозлился и ударил бывшего старлея еще раз. – Гитлер капут!

Вскоре на проволочный загон, освещенный по углам кострами, чтобы были видны заключенные, опустился нездоровый холодный сон. Даже охранникам, привыкшим ко всякому, искренне ненавидевшим зек, иногда делалось не по себе. Люди лежали на влажной земле, лишь кое-где прикрытой ветками, травой, положив под голову свои жалкие манатки, дергались в воющем комарином мареве, в тучах гнуса, вскрикивали, просили помощи, звали в атаку, стонали, выли протяжно, задуманно, просыпались и, усталые, выжатые до основания, отупевшие, тут же засыпали вновь.

Страшно становилось охранникам, ведь перед ними лежали фронтовики – опытные, умеющие бить врагов, обладающие приемами рукопашных схваток, которые могли скрутить вох-

ровцев в несколько минут, поотнимать у них автоматы и, связав одной веревкой, расстелить рядком на жидкой, придавленной непогодой траве.

Вохровцы, зная, что с ними могут сделать фронтовики, не выпускали из рук оружия, жались друг к другу и тревожно поглядывали на стонущих, хрипящих, вскрикивающих, обесиленных людей. В глазах их был страх – они боялись зеков.

Утром колонна двинулась дальше – на восток, в прохладное розовое пространство, рябое от гнуса и комаров. Спасением от этих гадов был лишь встречный ветер, но он был слабым и часто, едва возникнув, угасал.

Колонне предстояло пройти еще восемнадцать километров. Там ее ожидал новый загон, который, в отличие от первого, надо было обустроить – туда уже и лес подвезли, и две армейские кухни на автомобильных колесах, и сторожевые вышки установили. А вот что касается крыши над головой, то ее зеки должны были соорудить сами.

– По своему вкусу и способностям, – ухмылялся, трясаясь в неудобном седле, «кум». – И чем быстрее вы, фашисты, это сделаете, тем меньше будете ночевать под открытым небом.

У лагерного начальства для будущих строителей сталинской железной дороги не нашлось даже старых рваных палаток, списанных из воинских частей, чтобы хоть на первых порах прикрыться от дождя и снега, – а снег, между прочим, здесь может запросто выпасть в середине лета, – от лютых, прошибающих до костей ветров и печного жара, способного опуститься на землю на следующий день после летнего снега.

Надо было держаться, жить и думать о завтрашнем дне, о том, как дотянуть до него, как сохранить себя на жалкой пайке хлеба в триста граммов и супе из ячневой крупы, заправленном несвежей рыбой.

Китаеву на память пришел лагерный сарай с мертвецами. Зимой к этому неказистому помещению подгоняли трактор с саями, замерзшие до каменной твердости тела складывали в сани – получалась приличная гора, – вывозили эту гору в карьер, там тела заваливал землей бульдозер – вечные квартиры здесь научились сооружать быстрее квартир временных.

Один из нарядчиков четвертого барака подсчитал, что в неделю трактор вывозил из лагеря, а могильщик-бульдозер закапывал около сотни человек. Люди, бывшие еще вчера живыми, имевшие имя и фамилию, родичей и свою судьбу, мечты и профессию, оказывались никем в безымянных могилах. Никто никогда уже не отыщет их. Так что жить надо было хотя бы ради того, чтобы не оказаться в безымянной могиле, чтобы на воле увидеть и обнять мать, своего брата, пропавшего на войне. Китаев не верил, что он погиб, считал, что старший брат жив. Выпить бы стопку водки за то, чтобы страшное бывшее никогда не повторилось. Китаев ощущал болезненно, как у него внутри, в глубине грудной клетки замирало, грозя в любую минуту остановиться, сердце и делалось трудно дышать.

Уставшая голодная колонна не могла даже стоять – очутившись за колючей проволокой, люди попадали на землю. Когда «кум» подал команду для переклички, один так и остался лежать на земле – тощий, с проваленным ртом, остроносый человек, одетый в рваную телогрейку.

«Кум» постоял около него несколько секунд, ухмыльнулся:

– Слабак! – Изогнувшись, постучал по сапогу плеткой, которую не снимал с руки – плетка ему нравилась, и, махнув ладонью, пошел пересчитывать зеков.

Так в лагере, в который определили не только четвертый барак, но и еще пять барачков, появился первый мертвец.

Мертвецов этих будет еще много, они начнут появляться в лагере каждый день, иногда по несколько человек – слишком тяжела, непосильна оказалась стройка железной дороги, которой в будущем, по мнению вождя, предстояло состязаться с Северным морским путем. Слишком увязли оказались люди – их добивали болезни, холод, голод, охранники, время.

Строили дорогу не только «политики», строили и уголовники. Никто из тех, кто находился в северных лагерях и слышал когда-либо название главного поселения тех мест – Абезь, – не миновал этой географической точки, не остался в стороне от великой стройки – не дано было...

Лагерь, к которому был приписан четвертый барак, именовался почти по-комсомольски гордо – Лаггородок. Когда Китаев ранее слышал слово «городок», перед ним обязательно возникало небольшое уютное поселение, цветы в палисадниках, вишни и яблони за невысокими заборами, патефон, стоявший на подоконнике какого-нибудь дома. Музыка из распахнутого окна льется на всю улицу, люди слышат ее и довольно улыбаются, поскольку «легко на сердце от песни веселой», а воздух... воздух пропитан запахами свежего варенья, малосольных огурцов и жареной картошки... Вот это и есть городок.

А что имели они? Колючую проволоку, бараки, собранные из щитов, непролазную болотную грязь, в которой бесследно тонули плетеные маты, удвоенное количество пулеметов на вышках – на прежнем месте их было много меньше. Востроглазые фронтовики, привыкшие засекать всякие мелочи, немедленно отметили это для себя... Вдруг пригодится?

Свою часть Лаггородка колонна «кума» построила быстро. Правда, не без потерь – «политики» недосчитались восемнадцати человек.

Для умерших была вырыта большая яма – общая могила, одна на всех, – в сырую, с обваливающимися краями яму эту могло войти не менее пятисот покойников... Значит, предстояли еще потери.

Все дни, пока возводили бараки, Китаев пробовал в мыслях написать письмо матери. Но едва в мозгу возникали слова «Здравствуй, моя дорогая мама», как в висках возникал звон и на глаза наворачивались слезы. Чтобы глаза были сухими, надо было срочно стирать из памяти первые слова письма. Тогда и дышать делалось легче, и из височных впадин вытряхивался звон. Ну что за напасть и как с нею бороться?

Ночью из недостроенного лагеря пытался бежать один зек. Бдительный и расторопный охранник Житнухин задержал его и приволок в Лаггородок. Приволок едва живого – избитый зек уже не держался на ногах и плевался кровью.

Куда потом подевали этого зека, никто не знал, но зато другое стало известно всем: через неделю Житнухин получил на погоны две лычки – стал младшим сержантом.

– Пройдет еще немного времени, и этот человек станет «кумом», – пообещал Егорунин и растянул губы в невеселой улыбке.

– А образование? – Китаев вопросительно поскреб пальцами трескучий, в серой щетине подбородок. – Для того чтобы быть «кумом», надо наверняка чего-нибудь окончить... Хотя бы девять классов. У него же, как пить дать, ничего, кроме начального образования, нет.

– А что образование? – Егорунин вновь невесело усмехнулся. – Образование в этой среде определяется размером кулака. Чем больше кулак – тем выше образование...

– И тем круче интеллект, совершенно верно, – поддержал Егорунина Христинин, закашлялся – в здешней сырости все хвори, все кашли вылезают наружу, даже те, которые были давно залечены. – Самым образованным человеком на зоне считается «кум», который ударом кулака может сшибить с ног корову.

Китаев невольно рассмеялся – их «кум» с тощими лягушачьими мышцами и зеленым лицом для этой роли не годился – силенок у него хватало лишь на то, чтобы съесть две тарелки макарон и пяток котлет. Ах, котлеты, котлеты – домашние, мамини, тающие во рту... Вкус их остался далеко отсюда, в Ленинграде, в доблокадном времени и вряд ли уже когда вернется к Китаеву. Да и жива ли мама, Китаев не знал, и узнать не дано. Он ощутил, как у него нервно дернулось лицо, напряглись мышцы. Лицо дернулось вновь, на этот раз сильнее, плечи встряхнулись словно бы сами по себе, со швов телогрейки на землю посыпались крупные серые вши.

Вши в северных краях водятся жирные, неповоротливые, с картинными белыми лапками и темными пятнышками на крохотной голове. Когда их давишь, во все стороны летит противная жижка, может даже в глаза попасть, отмывать потом приходится.

Иногда ночью, когда вши кусаются особенно сильно, они возникают во сне – крупные, сочные, вызывающие тошноту и боль. Понятно даже несмышленому человеку: сколько Китаев ни будет жить, столько будет помнить лагерных вшей... Причем северные вши отличаются от южных. Южные не ту статью имеют – тощие, проворные, с одежды, если зацепятся, ни за что не соскользнут – удержатся, даже если грохнет девятибальное землетрясение... Северные вши не такие, хотя и те и другие кусаются одинаково люто.

Китаев отгреб сорвавшихся с телогрейки вшей в сторону, поставил на них ногу, подвигал подошвой, давя это вредное зубастое пшено. Поморщился от того, что глотку ему сдавили чьи-то невидимые пальцы. Китаева от этого сжима чуть не вывернуло наизнанку. Он прижал пальцы ко рту и присел на корточки. Подождал, когда пройдет тошнота.

Через несколько секунд его накрыла жесткая, четко очерченная тень. Китаев поднял голову: над ним стоял Житнухин. С автоматом, висящим на груди, будто у изваяния, только что сошедшего с памятника.

Ухмыльнувшись, Житнухин поправил на плечах новенькие красные погоны, в которые, чтобы они не корбились, не мялись, были вставлены фанерки, – вначале поправил левый погон, потом правый. Сделал это младший сержант Житнухин, не поворачивая головы, не кося взглядом на плечи – он колюче, в упор, непримиримо смотрел на Китаева.

«Во мне этот гад видит классового врага, – отметил про себя Китаев, – на спусковой крючок своего автомата нажмет с большим удовольствием».

Он почувствовал, как по спине, под телогрейкой, крапивно острекая кожу, потек противный холодок.

– Ну чего, фашист, – новоиспеченный сержант весело ухмыльнулся, – не знаешь разве, что когда перед тобою стоит начальство, нужно вытягиваться во фронт и докладывать, кто ты и что ты? А?

Житнухин неторопливо стащил с себя автомат и неожиданно ловко, изо всей силы огрел Китаева прикладом. Удар пришелся в плечо, Китаев услышал, как внутри у него что-то хрустнуло, боль электрическим разрядом вспыхнула перед глазами, и он полетел на землю.

Впору бы закричать, застонать, но Китаев не издал ни звука.

– Поднимись и доложись, – вновь повесив автомат на шею, спокойно, даже как-то лениво проговорил Житнухин. – Ну!

Китаев молча, кривясь на один бок, будто подгнившее дерево, поднялся. Земля поползла у него из-под ног в сторону, он пошатнулся, чуть было не упал, но все же удержался. С трудом выпрямился.

– Ну! – прежним спокойным голосом потребовал Житнухин.

– Зека... заключенный номер пятьдесят шесть триста сорок два... тире пятьдесят восемь.

Прибавка «пятьдесят восемь» означала собачью политическую статью, дающую право всякому вольнонаемному, даже уборщице, вытряхивающей бумажки из урны в кабинете «кума», называть Китаева фашистом и гитлеровской сволочью.

– Повтори, – морщась и подергивая уголками рта, бесцветным тоном потребовал Житнухин. – Четко и громко, чтобы я услышал.

– Заключенный номер... – Китаев, стараясь, чтобы голос его не дрожал, не слабел сипло, повторил свой номер.

– Ладно, – ни с того ни с сего миролюбиво произнес Житнухин. – Смотри, мужик... Я тебя запомнил.

Что же младший сержант делает в зоне с автоматом? С автоматом надо находиться на сторожевой вышке, защищать заключенных, если на них нападут волки, совершать «чудеса

героизма», дозволенные охранникам, но заходить в зону с оружием запрещено. А вдруг какой-нибудь ловкий зек отнимет ствол, и тогда будет беда – с автоматом можно много чего наделать. Да и самому вохровцу придется отвечать за утерю оружия – десять лет пребывания в лагере строгого режима точно будут обеспечены. Такое падение младший сержант вряд ли перенесет, это все равно, что с облака свалиться в муравьиную кучу.

То, что новоиспеченный сержант запомнил Китаева – плохо, очень плохо. Вохровец ведь станет преследовать его, в любую секунду может наградить зуботычиной, на которую Китаев не имеет права ответить или вообще вышелушить челюсти. Житнухин вообще может запросто выдавить его из жизни, переправить с этого света на тот.

– Эй, сержант! – неожиданно раздался требовательный голос.

Житнухин вскинулся было, но в следующий миг побито втянул голову в плечи: его окликал сам «кум».

«Кум», похлестывая прутиком по штанине, поманил к себе Житнухина пальцем и произнес повышенным тоном:

– Ко мне, сержант!

Покрутив головой обеспокоенно, будто на кадык ему давили все пуговицы гимнастерки сразу, Житнухин скосил глаза на Китаева и, проговорив тихо и бесцветно: «Ты мне еще попадешься, фашистская вонючка», потрусил к «куму». В трусце у Житнухина, как у мерина, громко екала селезенка.

– Кто вам позволил с оружием входить в зону? – тихим ласковым тоном поинтересовался «кум». Был он явно не в настроении: то ли домашних пирожков с луком и крошеными яйцами давно не пробовал, то ли сон худой увидел, то ли слишком крупный комар укусил его в тощее, твердое, словно бы вырезанное из фанеры ухо, и он страдал от временной глухоты – в общем, что-то произошло... – А, сержант?

Вид у «кума» был недобрый.

– Дык, товарищ младший лейтенант... – переступив с одной ноги на другую и виновато екнув селезенкой, Житнухин опустил голову, – Дык ведь сейчас будем конвоировать заключенных на строительство...

– Дык, – передразнил младшего сержанта «кум» и перешел на «ты» – в этом переходе Житнухин уже увидел некоторое послабление, – дык я у тебя не спрашиваю, что ты собираешься делать, а спрашиваю, кто тебе позволил войти в зону с оружием. Кто конкретно?

– Дык мы все с оружием...

– Все да не все, – поучающим философским тоном проговорил «кум». – На первый раз прощаю, – считай, что отделался словесным втыком. На второй... Второго раза не будет. Заруби это себе на носу, – и, понизив голос до шепота, «кум» просипел: – Вон из зоны, пока я тебя в рядовые не перевел!

Новоиспеченный сержант козырнул и, развернувшись неловко, поспешно потрусил к воротам, охраняемым пулеметчиком, только стоптанные каблуки сапог постучали по отвердевшей земле, да в такт стуку глухо и совсем немзыкально екала селезенка.

Через пятнадцать минут четвертый барак целиком, позевывая, почесываясь, кляня вшей, трусил по дороге к месту работы, на участок номер двенадцать.

Противно ныли комары, солнца не было видно – заслонил толстый слой облачной ваты, но, несмотря на сумеречь, было сухо и дождя, судя по всему, не предвиделось. Хотя кто знает, север – штука непредсказуемая, погода может измениться в ближайшие десять минут.

Вброд одолели мелкую холодную речушку, в которой плескались шустрые темные мальки.

– Харьюзная молодь, – с завистью в голосе проговорил Христинин, шедший в колонне рядом с Китаевым. – Много бы я отдал сейчас, чтобы побывать на рыбалке. – Он с сипеньем втянул сквозь зубы воздух и помотал головой – вид у него был ошпаренный.

Свобода всегда ошпаривала и будет ошпаривать человека, потерявшего ее, – это закон. Собственно, Китаев подозревал, что у него вид тоже ошпаренный, ведь от одних только картин, пейзажей, «натюрмортов» свободы можно запросто грохнуться в обморок. Китаев отер кулаком неожиданно повлажневшие глаза...

За стройку взялись лихо, видать, распоряжение насчет этого поступило с самого верха, из Кремля, а может быть, распорядились даже еще выше...

Появилась новая техника, «зисы», выпущенные еще на Урале и приготовленные для фронта, но на фронт не попавшие, поскольку война закончилась, – попали сюда, на сталинскую стройку.

Водителями на «зисах» были вольные, набранные здесь же, на севере, – в Воркуте, в Инте. Среди шоферов были мужики и из Сыктывкара – пришли с фронта, а работы в городе нет... Пришлось вербоваться на стройку.

Работа была трудная, сложная, порою, кажется, вообще неодолимая – ну нельзя сквозь болото проложить железную дорогу – куда она пойдет? В преисподнюю? В никуда? Туда, куда не ходят поезда? Особенно сильно приходилось ломать голову вольнонаемным инженерам, когда попадалась мороженная земля... На дворе ведь лето, тепло, комарье правит бал, а земля твердая, как камень, поблескивает ледяными искрами, будто иголками.

Мерзлотные линзы силу имеют необыкновенную, железнодорожные рельсы легко скручивают в рогульки, шпалы разминают в мусор, в крошку без всякой натуги. Там, где можно было обойти мерзлотную линзу, не особо скривляя путь, инженеры обходили, там, где обойти было нельзя – мучились головной болью.

Силы на возводимую дорогу были брошены большие. Сюда, в комариную тундру, украшенную березовыми колками, поступала техника, без преувеличения, первоклассная – не только «зисы» с фронтального потока, но и немецкие грузовики, и вывезенные из Германии трактора, и наши родные «челябинцы» производства знаменитого 413, и бульдозеры, и дрезины для передвижения по рельсам, уже проложенным, и материал поступал – горы шпал, пропитанных вонючим черным креозотом; попадались даже партии шпал, пропитанных дегтем – креозота под рукой не оказалось, с поставками возникало напряжение, а люди спешили выполнить план, не подвести, вот и пускали в ход деготь. Появились и вагоны, и даже паровозы.

Были образованы три гигантские стройки, как слышал Китаев, – номерные зековские: пятьсот первая, пятьсот вторая, пятьсот третья... Заключенных нагнали на эти стройки – пшеницу негде упасть – зековская тьма, а не северная тундра.

Стройка, к которой приписали четвертый барак, числилась под номером пятьсот один, должна она была обеспечить возведение западного участка дороги, – и чем быстрее, тем лучше. Средний участок был закреплен за стройкой номер пятьсот два, и последний отрезок, восточный, прочерченный до самой Игарки – пятьсот третий.

Расстояние, которое зекам требовалось подмять под себя, укрепить, проложить шпалы и рельсы, было немаленькое – примерно полторы тысячи километров. Сколько же здесь будет положено народа, заранее не мог определить никто, ни один специалист, хотя одна закономерность была засечена точно: каждый день стройка брала мзду, брала гораздо больше, чем стационарные лагеря. Люди умирали как мухи. Была бы еда посытнее – умирали бы меньше. Говорят, что дальше будут кормить лучше, но когда наступит это пресловутое «дальше», не ведал никто. Многие от голода готовы были закрыть глаза и просить Бога, чтобы побыстрее забрал к себе...

Воркутинские эшелоны доставляли зеков, брошенных на подмогу с Большой земли, в Абезь, а оттуда по трассе – в лаггородки, под начало «кумов» и их помощников. Иногда новички прибывали в вагоне, который тянула дрезина, иногда на своих двоих, раз на раз не

приходилось. В конце концов народу набилось на сталинской стройке столько, что для призора за ним не стало хватать вохровцев.

Говорят, почувствовав слабину в охране, наиболее дерзкие зеки уже пустились в бега. Происходило это в других лагерях, не в том, где находился Китаев. Китаев удивлялся: чтобы убежать отсюда, с севера, надо иметь не только длинные ноги, но и сытый желудок, и мозги в голове, и котомку с припасами, и хорошую топографическую карту, желательна, воинскую.

Участившиеся побеги озадачили начальство – чем же приструнить зеков, как держать их в узде, в повиновении? И тогда какой-то умник предложил из числа самих заключенных составить отряд «самообороны». Ведь не все же заключенные – отпетые фашисты, на которых пробы ставить негде, не все перед сном вместо басен Крылова читают «Майн кампф»! Среди них есть и такие, кто встал на путь исправления, вот их и надо привлечь к этой работе.

Идея понравилась начальнику 501-й стройки – полковнику с одутловатым лицом. Он положил перед собой лист бумаги, разрисовал одному ему понятными значками и сказал двум своим заместителям – по политической части и оперативной:

– Создавайте-ка эту самую... как вы ее называете? Самоохрану. Дикость конечно, нигде такого не было, чтобы зеки охраняли сами себя, но выхода у нас нет. Посмотрим, какие котлеты из этой козы получатся.

Из ленинградцев в самоохрану попал Сташевский. Его вызвал к себе «кум», усадил на табуретку и, потягивая из стакана сладкий душистый чаек, начал душевный разговор:

– Я тут дело твое недавно исследовал – у тебя не все еще потеряно...

– Спасибо, гражданин начальник!

– Ты еще можешь стать человеком, – «кум» окинул Сташевского взглядом с головы до ног и обратно, – хотя это и непросто. Будешь для начала охранять своих фашистов...

Сташевский удивился:

– Как, с оружием в руках?

– Да. Дадим винтовку. И патроны. Цени. Но взамен потребуем, чтобы ты старался на все пять. Либо даже на шесть. Понял? Тебе это зачтется. Срок, если будешь хорошо служить Родине, пойдет сокращенный: один день за два. Понял?

В глазах Сташевского мелькнули радостные блески, бледное заморенное лицо его порозовело, губы зашевелились сами по себе, словно бы он читал лекцию в университетской аудитории.

– А если будешь служить очень хорошо, то после отбытия срока снимем судимость. Понял?

– Так точно, гражданин начальник, все понял.

– Ну, раз все понял, то подпиши мне вот эту бумажку, – «кум» достал из старого шаткого столика, за которым сидел, – мебель эта была, естественно временная, – лист бумаги с типографским текстом; Сташевский эту бумаженцию знал, заполнял при прежнем «куме» – это было соглашение о сотрудничестве. – Будешь сообщать мне обо всем необычном, скажем так, что заметишь у своих... – «кум» замялся, прикидывая, какое же слово употребить, чтобы оно было точным и необходимым. В следующий миг у него словно бы подсолнечная шелуха слетела с языка, – коллег.

Собою «кум» был недоволен – не то слово подобрал: вчера случайно услышал от одного гнилого интеллигента, а сегодня использовал. Поторопился. Он поморщился, покрутил головой, осуждая собственную персону, и звучно отхлебнул чая из стакана, вставленного в подстаканник.

Сташевский быстро заполнил бланк, подписал его и легким аккуратным движением придвинул к «куму»:

– Вот!

– Не забывай добавлять «гражданин начальник», – предупредил его «кум». – В Кремле указ подписан: тем зекам, которые не почитают свое начальство – по пятьдесят палок ежедневно. Для профилактики. Будешь ходить потом с окровавленной жопой, на судьбу жаловаться.

Вместо ответа Сташевский поморщился: кровотечение из «пятой точки» – штука неприятная. «Кум» глянул на него косо, подумал, что для преподавателя марксизма-ленинизма этот человек мелковат, двумя пальцами ухватил вербовочный листок и опустил в ящик своего хлипкого скрипучего стола.

Задвинув ящик на место, произнес коротко:

– Иди! – Потом добавил: – Служи Родине!

В четвертый барак вместо Сташевского был переведен новый зек – бывший лагерный «кум», погоревший на том, что выгораживал своих подопечных, вычеркивал их из черных списков, а это очень не понравилось начальству, и мягкосердечный «кум» загудел в зону. Фамилия его была Брыль. В войну белорус Брыль партизанил, имел медали, а после войны партия послала его на укрепление лагерного руководства.

Присвоили Брылю звание капитана и загнали под Магадан, на колымскую трассу, в свирепый серый холод. Был Брыль высок ростом, сутул, вид имел мрачный, из-под насупленных густых бровей сердито поглядывали выгоревшие пытливые глаза. Егорунин, пообщавшись с ним немного, воскликнул с невольным изумлением:

– Как же тебя, друг ситный, в «кумы»-то занесло?

Брыль в ответ только руки развел:

– Если бы я знал. Была партийная разнарядка, послушаться ее – значит похоронить себя. Хоронить себя я не захотел...

– Но в результате все же похоронил, – жестким тоном произнес Христинин, прислушавшийся к разговору.

В полевом бараке топились печка, с потолка, как обычно, капало, пахло гнилью, плохо выстиранными портянками и невымытыми ногами. Мыться или стирать что-либо у людей не было сил – почти без сознания они падали на нары и забывались в тревожном, готовом в любое мгновение прерваться сне, а утром, под назойливую комариновую звень, в угрюмом сером свете, нервно подрагивающем от мелкой дождевой мороси, способной промочить человека до костей, снова выстраиваться в грязи на переключку и под дулами автоматов плестись к самой передней, устремляющейся на восток шпале, положенной на жесткую, скрепленную кое-где бетонными нашлепками насыпь.

Китаев работал в бригаде, укладывавшей на насыпь шпалы.

Часто шпалы попадались некачественные, плохо пропитанные, с проплешинами, которые приходилось пропитывать дополнительно, замазывать огрехи, иначе дерево могло сгнить, – явно шпалы эти обрабатывали уголовники. «Политики-фашисты» брака старались не допускать, были совестливы.

Около Китаева часто останавливался Житнухин, пальцем сшибал с сержантских лычек какую-нибудь муху и интересовался веселым тоном:

– Ну что, фашист, вкальваешь? Бежать случайно не надумал? Нет? Давай, вкальвай, только не вздумай вредительством заниматься, – в голосе Житнухина появлялись угрожающие нотки и он напряженно подрагивающей рукой поглаживал приклад автомата.

К китаевской бригаде присоединили группу зечек – двадцать пять человек в одежде, дочерна испачканной креозотом, маслом, дегтем, смолой, изорванной настолько, что ее невозможно было починить, – заплатка сидела на заплатке, ниткой не за что было зацепиться, вылезала нитка из ваты, не держалась.

Зечки в бригаде занимались тем, что скуля, стеноя, выбиваясь из сил, почти теряя сознание, подтаскивали шпалы к насыпи, передавали их бригаде шпалоукладчиков. Работа эта была мужская, и мужчины, которые были такие же слабые, заморенные, голодные, как и зечки, готовы были взять эту работу на себя, но незамедлительно примчался «кум», замахал кулаками:

– Вы мне тут свои порядки не устанавливайте, не то... – Хорошо, что он находился в странно приподнятом настроении – наверное, жена из дома пирожков прислала, – иначе бы охранники, среди которых находился и беспогонник Сташевский, навалились на «политиков» с прикладами, набили бы шишек и синяков, а кое-кому вообще выколотили бы зубы. «Кум» усмехнулся, погрозил зекам и хмыкнул презрительно: – Жентельмены!

К нему поспешно подбежал бригадир, что-то забормотал на ухо, но «кум» не стал слушать его, махнул рукой:

– Потом, все потом... А сейчас – по местам. И никакой отсебятины, ясно?

Укладчики шпал занялись своим делом, заморенные дохлые зечки – своим. Вокруг, если оглянуться, люди шевелились, передвигались в самых разных направлениях, хрипели, сопели, таскали тяжести, будто муравьи, некоторые занимались работой, которая неведомо кому была нужна, но, видать, была нужна, раз площадку охраняло столько охранников.

Шпалы надо было не только уложить на насыпь, но и каждой пропитанной вонью деревянной болванке подготовить свое удобное ложе. Если же болванка начнет ездить – укрепить ее, удержать на месте длинным костылем, создать ровную подкладку для чугунного полотна. Рельсы не должны были провисать и шлепать пузом по насыпи, за это можно было получить дополнительный срок – до двадцати пяти лет.

Выше двадцати пяти был только расстрел.

Над работающими зеками висели плотные серые облака, смещались то в одну сторону, то в другую. Это никак не мог отстать от людей гнус – самое страшное из всего, что имелось на севере. Вчера Егорунин увидел в тундре мертвую важенку – молодую олениху. Гнус заел ее до смерти, выпил кровь, и важенка погибла. Егорунин покрутился около нее, примерялся и так и этак, прикидывал, как пустить ее в котел, но отступился – олениха уже начала разлагаться. От одного килограмма гнилого мяса мог протянуть ноги весь четвертый барак.

Несколько женщин железными крючьями подтянули к Китаеву тяжелую шпалу, оставили на обочине насыпи и отцепились от нее; одна из зечек, широкая в кости, с угрюмым взглядом, выругалась матом. Видать, это была старшая...

Двое изможденных женщин привычно потянулись за ней, а третья, совсем еще девчонка, с большими карими глазами и бледным усталым ртом, молча опустилась на землю.

Обессиленно помотала головой:

– Не могу!

Услышав этот всхлип, Китаев поспешно огляделся – как там охрана, не видит ли? Охранники скучковались метрах в семидесяти на небольшом каменном взгорке, балагурили, рассказывали что-то друг другу. Среди них находился и Сташевский со старой облезлой винтовкой и брезентовым подсумком, повешенным на брезентовый же ремень, а вот пряжка на этом захудалом поясе блестела, посверкивала ясным золотом, будто на ремне настоящем, кожаном: начинающий вохровец не поленился, надраил ее от души... Подсумок был туго набит патронами, тяжело оттягивал ремень. Сташевский смеялся, были видны его серебряные зубы.

Раньше Китаев не замечал, что у земляка металлические зубы. Наверное, потому не замечал, что Сташевский никогда не улыбался и тем более не смеялся – зеку не до этого.

Тумака этой обессиленной девчонке может дать только бригадирша. Но та уже удалилась метров на двадцать, шагала хоть и устало, но широко, вразвалку. Походка у нее была мужицкая, и ноги были мужицкие, с чуть вывернутыми разбитыми ступнями. В ходьбе бригадирша опи-

ралась на железный крюк как на костыль, шла, опустив голову, думу какую-то свою, – непростую, тайную, – думала.

Еще раз оглядевшись – не хотелось получать удара прикладом по шее от «друга», младшего сержанта Житнухина, – Китаев поспешно переместился к плачущей девчонке.

– Ты чего, ты чего, – забормотал он сиплым задышающимся голосом, – подымайся! Иначе... Как бы беды не было. Подымайся!

Та, подергав подбито головой, будто умирающий заяц, ткнулась лицом в коленки. Проскулила обреченно:

– Пусть они меня убьют – не могу больше.

– Дура! – грубо выпалил Китаев. – Убивать на виду у всех тебя не станут, побоятся... А вот в карцер засадят надежно – в здешних условиях это все равно, что живьем лечь в могилу. Вставай, дура! – он подхватил девчонку руками под мышки и рывком, потратив на это едва ли не все силы, поставил на ноги.

Девчонка несколько мгновений стояла косо, опасно покачиваясь, грозясь свалиться на землю, но все-таки не свалилась, преодолела себя и неровной походкой, заваливаясь то на один бок, то на другой, поплелась следом за своими товарками.

Облегченно вздохнув, Китаев проводил ее взглядом и вернулся к шпалам, один вид которых вызывал у него слабость и приступы желудочной боли.

– Ты чего? – спросил Егорунин. – Влюбился, что ли?

– Влюбился – не влюбился – это дело такое... Как в анекдоте про дистрофика, которого чуть не раздавила муха. А зечку эту надо было выручать. Если бы она не поднялась, то через пару дней валялась бы в общей могиле.

– Тут ты прав, – хмуро кивнул Егорунин. – Настолько все просто, что в рай отправляют, даже не спрашивая, стоишь ты в очереди к Всевышнему или нет. М-да-а... А чего дистрофик – с мухой не совладал?

– Лежит дистрофик в больнице, мается от слабости, тут ему на грудь муха садится. Дистрофик морщится, пробует ее согнать, наконец поднимает руку. «Кыш, проклятая собака! Всю грудь мне истоптала».

– М-да, было бы смешно, если бы не было так грустно, – хмуро заметил Егорунин.

– Есть еще один анекдот. Сочинили дистрофики, вышедшие из концлагеря.

– Анекдоты могут продлевать жизнь, – философски заметил Егорунин. Подцепил крюком шпалу, подтащил ее к ложу. – Понял? Рассказывай!

Вздыхнул Китаев – сил даже на анекдот нет. Егорунин это понял, задрал голову вверх, так, что кадык выступил на шее остроугольным кирпичом, промокнул рукавом пот, просипел натуженно:

– Если нет сил – можешь не рассказывать.

– Стоят два мужика, уцелевшие в Освенциме, держатся руками за стенку. Неожиданно у одного из них в глазах появляется блеск и он говорит другому: «Ну что, сегодня по бабам пойдём?» А тот в ответ: «Пойдем, если ветра не будет».

В груди у Егорунина родился глухой каркающий звук, встряхнул все его тело, он выпрямился и выкашлял из себя:

– Плохой анекдот.

– Это, Саня, смотря из каких кустов на него смотреть.

– Из любых, – буркнул Егорунин. – Я эту пошлость еще до войны слышал. – Он снова взялся за железный крюк. – Давай нажмем, а то мы с тобой сегодня даже на баланду не заработаем.

Со своими выводами Егорунин опоздал на несколько мгновений – около них уже стоял бригадир, злой, с плоским, украшенным оспяными выковыринами лицом и длинными руками с ладонями-лопатами.

Как-то на спор бригадир голыми руками нагрузил носилки щебнем гораздо быстрее, чем другой зек, нагружавший вторые носилки совковой лопатой.

Причем лопата у него была самодельная, повышенной емкости, – и все равно зек не угнался за бригадиром, закашлялся, заперхал, заклекотал глоткой, внутри у него что-то зачавкало, словно бы там жило некое странное существо, и одышливый ударник лагерного труда откинул в сторону лопату, сдаваясь – против жилистого как обезьяна бригадира он не тянул.

Бригадир окинул секущим уничтожающим взглядом скорчившегося над шпалой Егорунина, потом Китаева, хотел выругаться, но не выругался, лишь взметнул над собой кулак, потряс им, демонстрируя свои самые серьезные намерения, и ушел.

– Навались! – призвал Егорунин напарника. Китаев помог ему крючком, вдвоем они перевернули шпалу и оба невольно поморщились: колода эта с обратной стороны была пятнистая – креозотом ее обработали халтурно.

Конечно, можно отыскать халтурщика, но ни Егорунин, ни Китаев, ни Христинин этого никогда не делали: может быть, виновником был свой брат-фронтовик – такой же, как и они, только вконец ослабший, загнанный, у которого свет уже меркнул в глазах. Егорунин стиснул зубы, сдерживая ругань, и ткнул в ведро с черной, маслянисто поблескивающей жидкостью кисть, прошелся по пятнам, потом потыкал в них торцом кисти, словно бы вбивал берегающую дерево жидкость в плоть шпалы, как гвозди.

Если этого не сделать, шпала очень быстро сопреет – это раз, и два – если вдруг какие-нибудь проверяльщики вздумают осмотреть уложенную в полотно шпалу и обнаружат такой непрокрас, то неведомого халтурщика искать не станут – сдерут шкуру со всей бригады. Могут припаять любую статью и к тому, что есть, прибавить еще годков десять – пятнадцать, а то и вовсе прислонить к стенке и полить свинцом.

– Оторвал бы я этому работнику все, что растет у него ниже носа, – пробурчал Егорунин, – и чем ниже, тем тщательнее бы провел прополку.

Фыркал, кипел Егорунин, и был прав. Китаев его поддерживал, кивнул, присоединяясь к нему, но в следующий момент, переключая своего напарника на другие мысли, более веселые, проговорил, ни к кому не обращаясь:

– Интересно, за что эта девочка мается в зоне?

Хоть и не обращался Китаев к кому-то конкретно, а знал, что здесь принято ловить каждый звук, каждый шорох, не говоря уже о голосе, каком-нибудь вскрике или стоне – зеки засекают абсолютно все.

– Что, глаз на нее все-таки запал? – сиплым голосом поинтересовался Егорунин.

– Если бы глаз – душа может запасть, – неожиданно высказался Христинин.

– И тогда будет совсем плохо, – Егорунин то ли осуждающе, то ли понимающе покачал головой. – Советую держать себя в узде.

– Эвон! – Китаев хмыкнул. – Ты как «кум», по любому поводу свое мнение имеешь... Знаток человеческих душ! – он снова хмыкнул. – И с каких таких харчей я должен держать себя в узде?

– Это у «каэров»¹ недопустимо, у политических, а у уголовников, например, еще как допустимо, – неожиданно подал голос Брыль, возившийся со шпалой рядом. Одна рука у него была перевязана грязной тряпкой – позавчера сильно ободрал ее, но от работы бывшего «кума» не освободили. Брыль маялся, стонал от боли – одной рукой было трудно управляться. – Как-нибудь я вам расскажу, какая любовь бывает у уголовников на Колыме.

¹ «Каэр», КР – контрреволюционер. Довоенная статья Уголовного кодекса, по которой судили людей, часто давали высшую меру.

– Ты чего, думаешь, мы не представляем, что это такое? – пробурчал под нос Егорунин. Он был занят делом – прикидывал, как лучше уложить шпалу в готовое гнездо. – Не знаем, думаешь?

– Про такую любовь точно не знаете. Будет время – повеселю, – пообещал Брыль.

Тем временем женская четверка, возглавляемая мужиковатой бригадиршей, подтащила еще одну шпалу, выдернула из нее крючья. Бригадирша оглянулась на ослабшую девчонку, в глазах ее затеплились тусклые свечечки.

Брыль это засек и неодобрительно покачал головой: знал он нечто такое, чего не знали другие зеки из четвертого барака.

Девчонка держалась, кусала зубами губы и, преодолевая саму себя, держалась. Карие глаза у нее поблескивали, как два спелых каштана, но были сухи. Взяла себя в руки, значит, а может, и бригадирша помогла. Китаев глянул на нее и вздернул вверх правую руку с оттопыренным большим пальцем: молодец, мол, держись.

Выпрямился и спросил вслух:

– Все в порядке?

Та молча смежила каштановые глаза: ну будто свет какой прикрыла веками. Бригадирша надулась и смерила Китаева недобрым взглядом. Китаев перехватил этот взгляд, подивился его суровости.

– Пошли! – бригадирша повела головой в сторону, приказывая девчонке идти перед ней к штабелю шпал, сложенному на обочине насыпи – шпалы привезли ночью и в темноте разгрузили неряшливо, криво-косо. Часть шпал попала в воду, в край сырой лощины, под которой таял лед, на редко росшую кугу – очень противную болотную траву; часть вообще угодила в край болота, и бригадирша со своими подопечными вытаскивала их из рыжей липкой мокреди, сушила.

Халтурную работу, конечно, сделали ночью зеки. С другой стороны, в ночной темени, набитой комарьем, ничего другого они сделать не могли – что смогли, то и сделали.

Девчонка повесила голову и первой поплелась к штабелю шпал. Бригадирша, тяжело измеряя ногами землю, двинулась следом.

Проводив женскую четверку взглядом, Брыль покачал головой:

– Однако!

Впрочем, в слове этом, произнесенном очень негромко, никакого осуждения не было.

Впереди, в сотне метров от участка, на котором работали Егорунин, Китаев, Брыль, Христинин, на насыпи копошилась другая группа – довольно шумная, вольная; трудилась она с матерками да с неприличными частушками. Вохровцы, присматривавшие за этой группой, автоматы держали за плечами, замечаний не делали – мат и скользкие частушки им нравились. Работали там, конечно, не «политики», работали уголовники, а этому расхристанному люду послабления всегда были – особенно когда кто-нибудь из разрисованных наколками быков по тихому приказу «кума» всадит в бок какому-нибудь «политику» заточку и уложит на землю с пронзительным криком:

– Каэровец умирает!

Заточка – инструмент коварный, от удара на теле убитого следа почти не остается, только крохотная красная точка и все, – но ведь такая малоприметная точка может остаться от чего угодно, даже от укуса комара. Поэтому причина смерти того или иного зека будет заключена в короткой реплике-приговоре, который выскажет в бараке «главврач», он же «кум»:

– Сработался фашист, дышалка кончилась, вот он и лег. Расходитесь, уроды!

Покойника брали за руки-ноги и волокли к сараю или к яме, где сосредотачивались трупы. «Кум» у уголовников был такой же образованный, как и у «политиков».

Неожиданно уголовники, сосредоточившиеся впереди на насыпи, засуетились, сбились в кучу, завзмахивали руками, загалдели. Через несколько минут к ним галопом, нервно стуча каблуками сапог, проскакал «кум», прокричал на ходу яростно, плюясь в обе стороны слюной:

– Разойдись!

Уголовники разом перестали суетиться, вскинулись и застыли, будто пришибленные громом – своего «кума» они побаивались.

– Разойдись! – переходя с крика на заданное сипение, повторил команду уголовный «кум».

Толпа начала неохотно раздвигаться, обнажила середину – кусок земли, сдавленный шпалами, на котором, раскинув руки в стороны, лежал человек.

– Жмурик, – спокойно констатировал Егорунин.

На фронте ему доводилось видеть много трупов, самых разных, и отличать мертвых от живых он умел с одного беглого взгляда. Наверное, даже с закрытыми глазами мог определять, – как, собственно, и Китаев, и Христинин.

Иногда у мертвого что-то отпускало, срабатывало внутри, и из него лезло все, что он съел и что выпил, – лезло уже переработанное... Таких мертвецов действительно можно отличать по запаху.

Поза мертвого человека сильно отличается от позы живого – то голова бывает словно бы засунута под мышку, ноги перевернуты на сто восемьдесят градусов, глядят задом наперед, то одна нога так переплетена с другой, что кажется – в ней совсем нет костей, или же рука вывернута слишком диковинно – у живого человека она никак не может быть так вывернута.

– Точно. Жмур, – подтвердил Христинин.

«Кум» уголовников неожиданно на бегу выдернул из-за голенища ломик – это была трофейная «фомка», какие попадались в немецких легковушках – и вскинул «фомку» над головой:

– Кому сказали – разойдись!

Уголовники поспешно рванули в разные стороны – видать, ломик, который «кум» таскал в сапоге, был им хорошо знаком.

На земле, поджав под себя ноги в скорбной позе, лежал человек с черным щетинистым лицом и распахнутым ртом, в котором прямо посередине, словно заваливающийся верстовой столб, торчал крупный кривой зуб. Китаев знал его – доводилось сталкиваться. У мертвого была знатная для лагерей кличка Итальянец, хотя зек этот был похож на кого угодно, только не на итальянца. Китаеву как-то рассказали, что звали мертвого Итальянцем по простой причине – на груди у него красовалась странная татуировка – портрет Бенито Муссолини. Неизвестный лагерный художник постарался – портрет этого лысого красавца с бетонной нижней челюстью было непросто вытатуировать на тощем зековском теле.

Но художник – совсем не от слова «худо», а вполне толковый, – постарался: Муссолини был похож на себя. Такое заключение сделали лагерные эксперты, сравнив портрет с физиономией, увиденной на обрывке газеты.

По команде «кума» уголовники вывернули телогрейку Итальянца, натянули мертвому на голову, чтобы не было видно лица и настежь распахнутого рта, подхватили его и потащили в сторону от насыпи.

– На этой дороге будет похоронено людей не меньше, чем на Колыме, – бесцветным голосом проговорил Брыль. – Вот увидите.

– И видеть ничего не надо, и без того все понятно, – сказал Егорунин. – Так оно и будет.

Тут на них вороном налетел бригадир, завзмахивал руками.

– Работаем, работаем, – привычно выкрикнул он, – на мелочи не отвлекаемся.

– Ничего себе мелочи, – отвернув голову в сторону, произнес Егорунин.

Бригадир у них хоть и шипел часто, как Змей Горыныч, увидевший Добрыню Никитича, а все-таки был незлобный, в прошлом – интендант. За что конкретно, за какой антисоветский проступок он залетел в лагерь, не знал никто, даже беспроволочное лагерное радио. А радио это – штука такая, от которой спрятаться невозможно, – все про всех знает и распространяет знания, как круги на воде. Шлепнется камень в воду, круги пустит, всем они видны, все знают биографии друг дружки не хуже «кума», так что польза от лагерного радио кое-какая имеется, но про бригадира – сведений никаких... Звание на фронте у бригадира было высокое – подполковник.

Пока наблюдали, как поехал в мир иной заслуженный зек, четверка женщин подтащила еще одну шпалу, выдернула из нее крючья.

Молодая зечка, глянув на Китаева и едва не растворив его в своих глазах-каштанах, произнесла неожиданно вопросительно, со вздохом посмотрев на мужиковатую бригадиру:

– Петюня, родненький, может, немного передохнем, а?

Бригадирша вскинулась, топнула ногой, обутой в разбитый ботинок большого размера.

– Цыц, Анька! – громким голосом, в котором слышались встревоженные визгливые нотки, проговорила она, ткнула рукой в группу людей, тащившую мертвого Итальянца. – Тама отдохнем, тама! Поняла?

Значит, зечку с глазами-каштанами звали Аней. И фамилия у нее должна быть явно какая-нибудь простая, глубинная, русская – лицо вон какое, типично нашенское. Такие лица имели люди, жившие в Киевской Руси.

Интересно только, почему Аня назвала свою начальницу мужским именем Петюня? И обращалась к ней, как к мужчине... Что бы это значило?

– Ты, ленинградец, наивен, как ботинки первоклассника, – поддел его Брыль, засмеялся хрипловато, булькающе. – В зоне нельзя быть таким наивным.

– То, что в зоне нельзя быть наивным, я знаю, только вот не знаю, почему я наивен?

– По кочану да по кочерыжке.

– Себе я таким не кажусь.

– Мудрые старики в таких случаях говорят: со стороны виднее.

– Эй, разложенцы! – прикрикнул на них бригадир, – кончай болтовню, иначе в обед мы даже по полпайки хлеба не получим. Ясно?

Чего ж тут неясного? Егорунин поморщился. В природе тем временем что-то сдвинулось, потеплело, сменился ветер и пригнал с юга подогретые пласты воздуха. Вместе с теплом приволоклись и облака – раздерганные, серые, с рваными краями, недобрые.

По всему было видно: изменившийся ветер обязательно натянет дождь, только будет ли этот дождь теплым, как переместившийся на север южный воздух, не знал никто.

В бараке, как и на улице, покоя не давали комары, висели в помещении облаком, нудили своими острыми тонкими голосами, ели всех поедом – изо всех углов слышался мат, – уснуть было невозможно. Разными средствами пробовали отбиваться от комаров – и жидким мылом, уничтожающим лобковых вшей, пробовали мазаться, и вонючим креозотом, пары которого что-то мертво перекрывали в груди – дышать делалось трудно, и керосином, и дегтем – ничего не помогало.

Единственное, чего опасались кусачие летуны – гнилой древесной каши, вытащенной из нутра какого-нибудь дерева – ольхи или старой ели.

Трухой этой заправляли таз и разжигали с большим трудом – сырая липкая труха почти не загоралась, но среди зеков имелись такие мастера, что могли обычную воду обратить в керосин, а мокрую еловую размазю – в горючую немецкую бумагу, пропитанную селитрой. Германские табачники такую бумагу пускали на изготовление сигарет. Именно поэтому трофейные сигареты никогда не гасли – догорали до конца, до самых пальцев.

Чем были плохи чадающие вонючим серым дымом тазы – можно было задохнуться. Утром, если не задохнешься, головная боль обеспечена. Тоже вещь не самая приятная – в затылке стоит неистаивающий чугунный звон, а виски разламываются от сильного внутреннего напора, того гляди, костяшки от такого давления треснут, башка лопнет, как перезрелый гниющий арбуз.

Деревянная конструкция, именуемая нарами, была сколочена в три этажа. С самого верхнего лететь было не очень приятно – можно и костей не собрать. Внизу, на нижнем ярусе, расположился Егоруниин – как самый старший и самый заслуженный, среднюю часть занимал Китаев, бывший «кум» Брыль осваивал верхние слои душной атмосферы, кашлял, чихал, переворачивался с боку на бок... Когда переворачивался, вся конструкция скрипела отчаянно, грозя рассыпаться.

– Тихо, тихо, кум, – предупреждал Егоруниин снизу сонным голосом, – не развали барак. – Следом раздавался громкий шлепок: бывший орденносец Егоруниин снайперским ударом прихлопывал очередного наглого кровососа. Или двух.

Нары в три яруса – это еще ничего. Вот в соседнем лагере – там дело обстоит хуже. Туда с Большой земли пригнали новую партию, так в полевом бараке поставили пятиярусные нары. Верхний ряд забирается на свои места ползком, потом носом водит по потолку, скребет, оставляя следы, пытаюсь улечься потолковее.

Вот если оттуда сверзнется несчастный зек, то остаться целым, неполоманным, у него нет ни одного шанса. А если черепушкой стукнется о какой-нибудь деревянный угол, то и дорога у него будет одна – в общую яму.

– Й-йэх, жисть-жестянка, – скорбно вздохнул Китаев.

Как в мужских лагерях есть петухи – зеки, которых для удовлетворения своих половых потребностей держат более сильные заключенные, так и в женских матерые зечки заводят себе жен. И живут с ними, как мужики с бабами. Об этом Китаев слышал, только не представлял себе, чем одна женщина может увлечь другую и тем более удовлетворить. Что-то тут не сходится, концы провисают.

Словно бы почувствовав немой вопрос, возникший у Китаева, Брыль проговорил шепотом, будто выдавал большой секрет:

– Насчет любви зечки с зечкой существует целая наука, которую никакой академик Павлов не разгадает. Говорят, что одна баба может удовлетворить другую не хуже самого искушенного в этих делах мужика, – Брыль заворочался на верхнем ярусе, закашлялся, выругался. – Вот сучье немытое... Тьфу! Целый десяток комаров проглотил.

– Ну и как, вкусные? – подал голос с соседнего ряда Христинин. Ему, похоже, тоже были интересны рассказы про лагерную любовь, раз он так чутко слушал бывшего лагерного «кума». А «кум», хоть и бывший, знает все из первоисточника, врать не будет.

– Если бы комаров побольше, да подсолнечного масла налить, да жареного лучка добавить – наверное, было бы неплохо.

– Продолжай, чего там еще насчет любви зечек... Как они это делают?

– Да губами трутся о губы.

Христинин недоуменно завозился на нарах.

– Не понял.

– Да не теми губами, о которых ты подумал, дурачок. Клитером трутся о клитер. Что такое клитер, знаешь?

– Более-менее.

– Потом по зоне ходят вместе, как муж с женой, «муж» старается добыть для своей «жены» кусок послаще, зовет ее ластонькой или кралечкой, обнимает при всех и сопит покозлиному, если кто-то начинает слишком откровенно поглядывать на его «жену» и пускать слюни. Бывает, что дерутся.

– Бабы с бабами?

– Да. И драка эта бывает пострашнее, чем у мужика с мужиком. Крови больше.

– Да ну-у, – недоверчиво протянул Христинин.

– Бьются намертво. Особенно если «жена» молодая да красивая, а «муж» у нее – пахан в женской колонии. Хотя с паханами позволяют себе связаться только новенькие, неопытные, чересчур наглые. Обычно на «жену» пахана не позволяет себе положить глаз даже начальник лагеря. Может только начальник всех лагерей или начальник Дальстроя, как у нас в Магадане. В общем, человек с лампасами и не ниже того.

– Неужели начальник лагеря не может?

– По зековским законам – нет. Иначе получит в бок напильник. Или шило, сделанное из гвоздя. Протыкает насквозь, а крови нет. Был у нас один начальник лагеря, отбил у пахана «жену» – в бок получил заточку. Валялся в госпитале – долго валялся, месяца три. В лагерь уже не вернулся. Отправили его куда-то далеко, на Кудыкину гору, а зеки спустили его с этой горы вниз. Спустили так аккуратно, что костей он уже не собрал. Не выжил.

– Й-йэх, – выплюнул из себя печальный возглас Китаев, перевернулся на бок. – Есть хочется.

– На пятьсот второй стройке, я слышал, совсем другие условия, – пробормотал Егорунин. Он тоже, как и Китаев, начал ворочаться.

Им бы, смертельно уставшим, уже дошедшим до края, видевшим в жизни все, что она могла предложить, изнемогшим от нее безмерно, можно было бы и к «верхним людям» уходить, но все-таки что-то держало их здесь, заставляло мучиться, скрипеть, хватать губами воздух, страдать и сопротивляться смерти.

– На пятьсот второй, сказывают, кашей от пуза кормят. А тем, кто перевыполняет норму, дают еще и мясо, – поворочавшись немного и улегшись удобнее, проговорил Егорунин.

– Господи, я уже и забыл, как оно выглядит и чем пахнет, мясо это, – пожаловался Китаев, затаив на несколько мгновений.

– То ли еще будет, – вздохнул бывший «кум» и так резко повернулся на третьей «спальной» полке, что зашатались стойки всей этажерки. Чуть-чуть не рассыпались нары.

– Э-э! – Егорунин повысил голос. – Ты еще не свались на меня... Всех нас ужокошишь, сам третьим окажешься. В своей же мочке и искупаешься.

– Точно. Ни одного не удастся спасти, – дребезжаще рассмеялся Христинин. – На такую высокую тему разговор шел, и вдруг свалились в лужу мочи.

– Все в жизни говно, – сказал Егорунин, – кроме мочи.

– Если только одна мочка – можно стерпеть, – вставил Китаев, – а то в луже мочи почти всегда еще кое-что плавает...

– Все! Спать! – скомандовал Егорунин. Он еще не избавился от фронтовых замашек, при каждом удобном случае старался хотя бы немного покомандовать.

Впрочем, что Егорунин! Фронт сидел в каждом из них, не выветрился и выветриваться будет долго, – ведь половина из них офицеры, когда-то умели хорошо командовать... Впрочем, подчиняться они тоже умели.

Во сне Китаев увидел какую-то странную девушку. Вроде бы и Аня это была, и вместе с тем совсем не Аня. Может быть, Ира Самсонова, ленинградская пассия? У Иры точно такое же удлиненное нежное лицо, что и у Ани, только глаза были другие – серые, дождистые, трогательные за душу, как мелкая частая морось, типичная для питерского климата. Взгляд таких глаз может пробить до костей.

Где она сейчас находится, Ира Самсонова? Наверное, уже вышла замуж и, вполне возможно, нянчит детей – одного или двух.

Сквозь сон Китаев ощутил, что в глотке у него скопилась горечь, твердая, как камень, иссушающая рот, будто черемуховая кора, похожая на... Честно говоря, Китаев не мог опре-

делить, на что она похожа, горечь эта. Может, не на черемуховую кору, а на кору осиновою, на второсортный спирт, который в немецкой армии шел на технические нужды, на какую-нибудь обжигающую приправу, очень любимую, например, населением Венгрии...

Но вот глаза у лика-призрака изменили свой цвет, стали яркими, влажными, горячими, как каштаны, снятые с огня... Кто это? Аня?

Ира унеслась в далекое далеко, в серое пространство, в город, где ему, возможно, уже никогда не удастся побывать, никого и ничего увидеть. Он стиснул зубы и проснулся.

Барак был затянут темным вонючим дымом. Китаев мигом очутился на полу, раздвинул дым руками. Горели телогрейки, разложенные на просушку у печи. За ними должен был присматривать дежурный, но он, бедняга, сморенный, сломленный усталостью, уснул, не уследил за зековским имуществом.

Одна из тряпок – видать, основательно была пропитана дегтем – вспыхнула ярко, над ней взвился злой, очень проворный огонь и перескочил на ближайшие нары.

Еще немного и запылают не только нары, огнем займется весь барак. Под шумок тут многое можно сделать – и часть колючей проволоки вырезать и нырнуть в жидкий березняк, подступающий к строениям, и разоружить кого-нибудь из охранников, спрятать его винтовку, а затем совершить налет на пищеблок, сожрать все, что там есть, и прирезать десяток остроязыких, очень не нравившихся уголовникам «политиков» – в общем, много чего можно сделать, – и в разборке, которая потом будет проведена обязательно, пострадает едва ли не весь состав четвертого барака. Вместе с «кумом», между прочим.

– Пожа-ар! – что было мочи закричал Китаев.

Кричать надо было в полную силу, чтобы крик этот был слышен в Воркуте, иначе усталый барак не проснется. Продолжая кричать, Китаев бросился к нарам, под которые нырнул огонь, засек, что из-под нар, откуда-то снизу, чуть ли не из подполья прорывался огонь. Что-то там нервно дергалось, трепетало, устремлялось вверх, на свободу, желало вцепиться в промасленные штаны, в матрас, в сонную человеческую плоть.

– Пожа-а-ар! – продолжал вопить Китаев. Выволок из-под нар горящую тряпку, затоптал ее ногами, потом содрал с перекладин, пристроенных к печке, одежду, косо и, как оказалось, опасно висевшую над полом, – часть одежды тоже горела. Китаеву помогал очнувшийся дежурный – бледный, с трясущимися от растерянности руками и съехавшим набок ртом: понимал человек, что с ним после всего этого сделают.

На нарах, в дымной полутьме, начали шевелиться люди.

Самое интересное, что зек, лежавший рядом с печкой – тот, у которого чуть не запылали нары, – даже не пошевелился, продолжал спать, задрав большой горбатый нос, словно бы собирался дотянуться им до человека, расположившегося в среднем отделении, либо клюнуть в потемневшее влажное дерево. Может быть, он был мертв?

Проверять это было некогда.

Китаев ухватил тлеющую телогрейку, швырнул себе под ноги, запрыгал на дымной, плюющейся красными искрами вате, задавил пожар.

– Кто-нибудь дверь откройте! – прокричал он в шевелящееся темное пространство, такое плотное, что его, наверное, можно было резать ножом. – Откройте двери!

Китаева услышали невидимые зеки и по тому, как дрогнула, а затем зашевелилась, крепясь на одну сторону, клубящаяся масса, стало понятно – двери барака распахнуты... Наконец-то.

Перед глазами все плыло, в ушах стоял звон, сердце, кажется, стронулось с места и непонятно было, где оно сейчас находится: то ли в пятках, то ли в глотке, то ли вообще нырнуло куда-то в штаны и запуталось в складках ткани, найти его совершенно невозможно. Дыхание прилипало к зубам, к небу, обжигало ноздри. Пальцы, прихваченные огнем, горели. Руки придется перевязывать, иначе шпалы стешут мясо до костей.

Из дыма, с трудом раздвинув его руками, вытянул пахан из соседней бригады, сутулый, с разъяренным квадратным лицом и редкими ощеренными зубами. Дежурный, которому надлежало следить за печкой, был из его бригады. Увидев бригадира, он вытянулся перед ним, словно новобранец перед генералом – побаивался бригадира.

– Что ж ты, с-сука, – начал было бригадир, но что-то внутри у него сорвалось, он прервал мораль, которую начал читать и всадил кулак в челюсть дежурного.

Бил, похоже, не сильно – у того челюсть только лязгнула, будто паровозный сцеп, но зубы не посыпались... А вот на ногах дежурный не удержался, свалился на пол.

– Тьфу! – отплюнулся бригадир и проговорил с неожиданной болью: – Как же мне тебя от беды теперь отмазывать, а?

В дыму ругались, кашляли, сопели проснувшиеся люди, кто-то с ошалелым видом налетел на Китаева, но в следующий миг унесся в сторону – его отшвырнул бригадир, примчавшийся наказывать своего подопечного.

– Смотри, брат, как бы на тебя кто не накинусь, – предупредил бригадир Китаева. – Часть людей тут без штанов осталась, – квадратное лицо бригадира перекошилось в неожиданной ухмылке. – А когда крендель нечем прикрыть, знаешь, как человек может обозлиться?

Это Китаев знал, согнулся в рвотном приступе – дым, которого он наглотался по самый вентиль, начал, кажется, проедать дырку в желудке.

– Гхы, гхы...

– Топай на свои нары, если сможешь, – сказал ему бригадир, – я тут дальше один буду разбираться.

Бригадир был здоров, как трактор, мог запросто справиться с тремя-четырьмя зеками, даже крайне обозленными.

Во всяком лагерном сообществе – и у уголовников, и у «политиков» – обязательно есть свои старшие, паханы, которых в лагере уважают не меньше, чем начальника какого-нибудь Лагстроя, чьи портки украшены лампасами, а на погонах вместо лычек – позумент.

Паханы уголовников ходят со свитами, сопровождающие их урки могут прибить кого угодно, даже «кума», особенно если это прикажет сделать пахан, и всякий «кум» это знает, и на пахана никогда не поднимет руку, поскольку понимает, что тот почти всегда (а точнее – всегда) окажется сильнее его.

Кто был паханом у «политиков» четвертого барака, Китаев не знал, но он точно был, и порядок наводил, – но так аккуратно и так неприметно, что «политики» никакого давления на ощущали.

Однажды Китаеву сообщили, что пахан в их бараке – русский с горской фамилией Хотиев. Китаев посмотрел на Хотиева оценивающе – ничего выдающегося. Ни на уголовника, ни на «политика» не похож, невысокого роста, очень спокойный, с неторопливыми движениями, говорит мало, иногда возникает впечатление, что он вообще не умеет говорить...

В следующий раз во время перекура Китаев сказал тому «информатору»:

– Нет, пахан у нас не Хотиев.

– Хочешь верь, хочешь нет – это твое дело, – «информатор» хмыкнул.

Потом на Хотиева указал Христинин.

– Слушайся этого человека, как папу с мамой, Вольдемар. Это пахан.

– Быть того не может!

Христинин усмехнулся едва приметно, только уголки рта дрогнули. Засунул руку в карман и достал оттуда штуку совершенно неожиданную, в лагерных условиях забытую – фотокарточку.

Протянул плохонький покоробленный снимок Китаеву.

– Смотри!

На снимке был изображен Хотиев – много моложе нынешнего Хотиева, без седины в голове, подтянутый, в отутюженной гимнастерке с полковничьими погонами, при орденах, над которыми поблескивала звездочка Героя Советского Союза.

Не удержался Китаев, ахнул восхищенно. А с другой стороны, чего так бестолково охаться? Раз заслужил звезду – значит, достоин ее. Кто-то, а фронтовики хорошо знают, чего стоит такая награда, заработанная в боях, сколько крови собственной и пота на нее надо потратить – не сосчитать, поэтому всегда готовы ему подчиняться и признавать его верховенство.

– Что, не веришь? – спросил Христинин.

– Верю.

Потери четвертого барака в ночном пожаре были велики – пять человек не проснулись. Их отнесли в яму, выделенную под кладбище, и трофейный бульдозер своим широким лемехом надвинул на тела большой ворох земли.

Суровому бригадиру не удалось защитить своего подопечного-дежурного – за ним пришли три здоровых, с красными, пропитанными алкоголем лицами вертухая и увели. Жалко было несчастного зека, виновато сторбившегося, всхлипывающего, с тощей шеей и тощими руками...

Больше никто его не видел – охранники отвели его к могильной яме, на обочине которой стоял бульдозер, и втихую, чтобы никто не засек и никто не услышал, накинули ему на шею удавку, сделанную из гитарной струны. Затянули ее, подождали, когда бедняга перестанет трепыхаться, а потом спихнули в траншею: спи спокойно, дорогой товарищ.

На следующий день у своего железного коня появился бульдозерист – вольнонаемный передовик производства, заспанный донельзя. Завел мотор машины, и от вчерашнего дежурного не то, чтобы следа, даже намек на то, что он был, существовал когда-то, не осталось.

Впрочем, осталось другое, более долговечное и существенное – память. Говорят, что на фронте этот осунувшийся, потерявший себя человек – одни кости да кожа остались – был геройским командиром взвода. Награжден был орденом и двумя медалями.

Утром Китаев смазал руки вазелином, который ему дал Егорунин, намотал на пальцы бинты, оторванные от старой простыни, и встал на свое место в колонне. Когда колонну привели на рабочее место, Китаев огляделся: а где тут бригада, именуемая женской, и девушка с глазами, похожими на горячие каштаны?

Народу было много – столько, что и глазом не окинуть: под каждым кустом, в каждом углу, около каждой шпалы копошились люди – ото дня в день стройка росла, становилась многолюднее, колонны подваливали одна за другой. Каждый день, каждую неделю.

Нет, искать Аню в этой несметной толпе бесполезно.

– Навались! – прозвучала команда бригадира, и Китаев, морщась от боли в руках, всадил крюк в черную, дурно пахнущую плоть шпалы. Впрочем, он и сам, наверное, пахнет так же дурно.

При такой работе надо мыться каждый день, а то и несколько раз на день, у них же если получается раз в неделю, то очень хорошо, на деле же в примитивную, наскоро сколоченную на трассе баню водят раз в десять дней, иногда – раз в две недели. Такова лагерная жизнь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.